

ЭДУАРД СЕРОУСОВ



ТЕОРЕМА О
НЕРАЗЛИЧИМОСТИ

Эдуард Сероусов

Теорема о неразличимости

«Автор»

2025

Сероусов Э.

Теорема о неразличимости / Э. Сероусов — «Автор», 2025

Майя Ковальская — нейробиолог, изучающий химеризм. Она знает, что её левая рука содержит клетки нерождённого брата-близнеца. Чего она не знает — что это делает её частью чего-то большего. После смерти прабабки Майя получает старый дневник с двумя почерками — и текстом, который меняется при каждом прочтении. Страницы хранят семьдесят три года тайн, уравнения на полях и вопрос, на который нет ответа: если «я» — лишь одна проекция многомерной волновой функции, то кто имеет право выбирать за всю суперпозицию? Философский научно-фантастический роман о границах идентичности, цене знания и согласии, которое невозможно получить. Все иллюстрации сгенерированы в программе Ideogram. Научная фантастика

© Сероусов Э., 2025

© Автор, 2025

Содержание

Пролог: Две руки одной бумаги	5
Часть I: Пробуждение	14
Глава 1: Левая сторона наследства	14
Глава 2: Два почерка	25
Глава 3: Мера различимости	36
Глава 4: Температура прикосновения	46
Конец ознакомительного фрагмента.	54

Эдуард Сероусов

Теорема о неразличимости

Пролог: Две руки одной бумаги

Закопане, март 2024

Горы за окном тонули в предрассветной мгле, и Анна Ковальская не могла вспомнить, когда в последний раз видела их залитыми солнцем. Казалось, с тех пор как мать слегла окончательно – три недели назад, или четыре? – небо над Закопане затянуло пеленой, сквозь которую не пробивался ни единый луч. Татры стояли тёмными силуэтами, будто вырезанными из чёрной бумаги и наклеенными на серый холст.

Она поправила плед на коленях матери – жест бессмысленный, потому что Ирен уже не чувствовала холода. Не чувствовала почти ничего. Морфин делал своё дело: дыхание стало ровным, почти незаметным, лицо разгладилось. Девяносто три года оставили на этом лице карту рек и долин, но сейчас, в полумраке спальни, Ирен выглядела странно молодой. Или, может быть, просто пустой – как дом, из которого вынесли мебель.

Анна потянулась к чашке с остывшим чаем на прикроватном столике. Рядом лежал дневник матери – тот самый, в клеёнчатой зелёной обложке, который Ирен вела столько лет, сколько Анна себя помнила. Обложка выцвела неравномерно: в одних местах – густой изумруд, в других – почти голубой. Анна всегда думала, что это от солнца, от времени. Сейчас, в сером утреннем свете, цвета казались не выгоревшими, а скорее *недоопределёнными*, словно обложка не могла решить, какой ей быть.

Чай был горьким и холодным. Анна заставила себя сделать глоток.

Мать открыла глаза.

Это случилось всё реже – моменты ясности между волнами забытья. Врач предупреждал, что скоро они прекратятся совсем. Анна ненавидела эти моменты почти так же сильно, как боялась их исчезновения. Каждый раз, когда мать смотрела на неё *осознанно*, Анна не знала, что сказать. Шестьдесят два года, и она так и не научилась разговаривать с собственной матерью.

– Дневник, – сказала Ирен. Голос был сухим, как шелест страниц.

Анна взяла дневник с тумбочки, положила матери на грудь. Ирен не пошевелилась, чтобы взять его, только скосила глаза.

– Открой. Последняя страница.

Анна подчинилась. Страницы пахли пылью и чем-то ещё – странным, чуть кисловатым запахом, который она не могла опознать. Чернила? Но чернила не пахнут так. Она пролистала до конца, туда, где записи обрывались на полуслове.

Почерк на последних страницах был знакомым – острые буквы с резкими углами, наклон влево. Но на предпоследней странице Анна заметила что-то другое. Тот же текст, та же дата – но почерк мягче, буквы округлее, наклон вправо. Она никогда не обращала на это внимания. Или обращала, но не думала об этом. Или...

Анна моргнула. Показалось?

– Положи мне в руки, – сказала мать. – В обе руки.

– Мама, тебе нужно отдыхать.

– Скоро. – Ирен чуть повернула голову, и в её глазах Анна увидела что-то, чего не видела никогда раньше. Не страх. Не боль. Что-то похожее на *сосредоточенность* – будто мать решала сложную задачу, будто складывала в уме длинные столбцы цифр. – Положи в руки. Ей тоже нужно дописать.

Анна замерла с дневником в руках.

Ей?

– Мама, я не понимаю...

– Ты никогда не понимала. – Голос Ирен сменил тональность, стал ниже. Или это Анне почудилось? – Зузанна поняла, но не приняла. Ты не поняла, но приняла. Может быть, так лучше.

– Зузанна? – Анна вздрогнула при имени покойной сестры. – Мама, Зузанна умерла пять лет назад.

– Я знаю, когда умерла моя дочь.

Анна хотела возразить – что-то об усталости, о морфине, о том, что матери нужно поспать, – но Ирен протянула руки. Обе руки, ладонями вверх. Жест был неожиданно чётким для женщины, которая последние дни едва могла пошевелить пальцами.

– Положи.

И Анна положила.

Дневник лёг на грудь матери, раскрытый на последней исписанной странице. Ирен закрыла глаза. Её пальцы – левая рука и правая – медленно сомкнулись на обложке.

Анна хотела отойти, дать матери отдохнуть. Но что-то удержало её у кровати. Странное ощущение – будто воздух в комнате сгустился, стал тяжелее. Будто кто-то открыл окно, и вместо свежего горного воздуха внутрь хлынула... пустота. Да, именно так – не холод, не тьма, а *пустота*, которая заполнила пространство между предметами.

Анна посмотрела на окно. Закрыто.

Мать всё ещё держала дневник. Её дыхание изменилось – стало глубже, размереннее. На мгновение Анне показалось, что Ирен уснула. Но потом она увидела движение.

Пальцы левой руки матери шевельнулись. Скользнули к карману халата, где лежала ручка – та же самая синяя «Паркер», которой Ирен писала последние сорок лет. Анна помнила, как отец подарил эту ручку матери, когда ей исполнилось пятьдесят. Помнила гравировку на корпусе – «И. К.» – и то, как мать рассмеялась, сказав что-то странное: «Только инициалы. Так честнее».

Тогда Анна не поняла. Сейчас – тем более.

Левая рука матери вынула ручку из кармана. Поднесла к странице. Начала писать.

Анна наклонилась ближе. Почерк был округлым, мягким, с наклоном вправо. Не материнский почерк. Совсем не материнский.

«Семьдесят три года – это много. Достаточно, чтобы устать. Недостаточно, чтобы понять».

Ирен писала с закрытыми глазами. Её лицо оставалось неподвижным, безмятежным. Только левая рука двигалась – уверенно, почти механически.

Анна открыла рот, чтобы что-то сказать – остановить мать, спросить, что происходит, – но в этот момент правая рука Ирен тоже потянулась к дневнику.

И тоже начала писать.

Это было невозможно. Анна знала – *знала* – что это невозможно. Человек не может писать двумя руками одновременно. Не может вести две разные строки текста, две разные мысли. Мозг так не работает. Нервная система так не устроена.

Но руки матери двигались.

Левая выводила мягкие округлые буквы – одну строку, вторую, третью. Правая – острые, угловатые, с резким наклоном влево. Анна узнала этот почерк. Это был почерк матери. Настоящий. Тот, которым Ирен подписывала открытки, оставляла записки, заполняла квитанции.

Два почерка на одной странице. Два текста, переплетающихся друг с другом.

Анна почувствовала, как пол уходит из-под ног. Она схватилась за спинку кровати, чтобы не упасть. В голове стучала кровь, и сквозь этот стук пробивалась только одна мысль, снова и снова: *это невозможно, это невозможно, это невозможно.*

Но это происходило.

Левая рука: *«Мы так и не спросили у них. У Зузанны, у Анны, у той, что придёт после. Это было несправедливо. Но мы не знали как».*

Правая рука: *«Справедливость – категория, не применимая к квантовым системам. Мы не выбирали. Мы были. Есть. Будем – в той мере, в которой это определено».*

Анна читала, не понимая ни слова. Буквы складывались в предложения, предложения – в смысл, но смысл ускользал, растворялся, как дым. Что значит «квантовые системы»? Почему «мы»? Кто эти «мы»?

Она посмотрела на лицо матери. Ирен по-прежнему лежала с закрытыми глазами, губы чуть приоткрыты. Но теперь Анна заметила кое-что ещё. Левая сторона лица матери – расслабленная, почти улыбающаяся. Правая – напряжённая, сосредоточенная. Будто два разных выражения на одном лице. Будто два разных человека делили одну кожу.

Нет. Не думай об этом. Это морфин. Это старость. Это...

– Мама, – Анна услышала свой голос, и он показался ей чужим, – мама, пожалуйста, остановись.

Руки не остановились.

Левая рука писала быстрее – торопливо, словно не успевала за мыслью. Чернила ложились неровно, где-то размазывались, где-то пропадали, оставляя призрачные следы.

«Анна стоит рядом. Я чувствую её страх. Семьдесят три года я не могла объяснить – потому что объяснение было бы хуже молчания. Но сейчас она видит. Она видит и не верит. Это тоже своего рода защита».

Правая рука отвечала – ровным, чётким почерком, без помарок:

«Защита недостаточна. Декогеренция неизбежна. Когда тело остановится, волновая функция начнёт коллапсировать. У нас есть минуты. Или часы. Или дни – в зависимости от того, насколько дневник удержит когерентность».

Анна попятилась от кровати. Ноги не слушались. Она ударилась бедром о край комода, охнула – и этот звук вернул её в реальность. Какую-то реальность. Любую реальность, только не эту.

– Мама!

На этот раз Ирен открыла глаза. Оба глаза одновременно. Но смотрели они *по-разному*. Левый – мягко, с усталой нежностью. Правый – остро, оценивающе, как смотрит хирург перед первым разрезом.

– Анна. – Голос матери. Но тембр... два тембра? Нет, один. Просто один. Анна уже ничего не понимала. – Анна, послушай меня. Времени мало.

– Что с тобой происходит? – Анна услышала истерику в собственном голосе и возненавидела себя за неё. Шестьдесят два года, архивист, профессионал, привыкший работать с документами столетней давности, с хрупкими страницами, с исчезающими чернилами – и вот она стоит в спальне матери и не может справиться с тем, что видит. – Мама, я позвоню врачу. Тебе плохо, ты...

– Мне хорошо. – Левая рука оторвалась от дневника, поднялась к лицу Анны. Анна инстинктивно отшатнулась. – Впервые за семьдесят три года – *хорошо*. Потому что скоро закончится.

Правая рука продолжала писать.

«Протокол передачи не завершён. Майя – следующий вектор. Химеризм выражен сильнее, чем у матери. Связь будет интенсивнее. Возможно, слишком интенсивной».

– Мама, что такое «протокол передачи»? Кто такая Майя?

– Твоя дочь.

– Я знаю, кто моя дочь! – Анна почти кричала. Потом осеклась, прижала руку к губам. В комнате стало очень тихо. Только скрип ручки о бумагу – два скрипа, левый и правый, не в унисон.

Левая рука снова писала:

«Я не хотела этого для неё. Ни для кого из них. Но мы не выбираем, кому передать то, что мы есть. Мы можем только надеяться, что они справятся лучше нас».

Правая рука:

«Надежда – неколичественный параметр. Данные говорят: вероятность успешной интеграции при химеризме такой выраженности – 23%. Вероятность частичной декогеренции – 61%. Вероятность полного коллапса —»

Ручка остановилась.

Анна перевела дыхание. Её руки тряслись. Она смотрела на страницу – на два столбца текста, сплетающихся в невозможный узор, – и пыталась понять, пыталась *хоть что-то* понять.

А потом левая рука дописала:

«Достаточно. Она прочитает сама. Или не прочитает – это тоже выбор».

И правая:

«Не выбор. Вероятность».

Ручка выпала из пальцев Ирен. Покатилась по одеялу, оставляя синий след на белой ткани.

Анна не знала, сколько прошло времени. Минуты? Часы? За окном по-прежнему было серо, горы по-прежнему молчали, и в комнате ничего не изменилось – кроме того, что изменилось всё.

Ирен лежала неподвижно. Дыхание стало реже – долгие паузы между вдохами, каждая длиннее предыдущей. Анна знала этот ритм. Она сидела у постели отца, когда он умирал. У сестры. Теперь – у матери. Она знала, что означают эти паузы.

Дневник всё ещё лежал на груди Ирен, раскрытый. Анна не хотела смотреть на страницу. Не хотела видеть эти два почерка, этот невозможный диалог с самой собой. Но глаза сами возвращались к буквам.

Последние строки:

Левая рука: *«Она так и не спросила, согласна ли я».*

Правая рука: *«Мы так и не спросили, согласны ли они».*

Анна почувствовала, как слёзы текут по щекам. Она не плакала с похорон Зузанны – запретила себе. Но сейчас не могла остановиться. Это были не слёзы горя. Это были слёзы *непонимания*. Шестьдесят два года она прожила рядом с этой женщиной, называла её матерью, помнила её голос, её руки, её привычки – и только сейчас поняла, что не знала её. Совсем.

– Мама...

Ирен не ответила.

Анна наклонилась ближе. Прислушалась. Дыхание было почти неслышным. Но оно было – тонкая ниточка воздуха, соединяющая мать с миром.

– Мама, я здесь. Я с тобой.

Губы Ирен дрогнули. Не улыбка – что-то другое. Попытка сказать что-то, что не помещалось в слова.

А потом – Анна увидела это совершенно отчётливо – левая сторона лица матери *расслабилась*. Раньше других мышц, раньше правой стороны. Будто кто-то уходил – отпускал тело по частям, как отпускают верёвку, узел за узлом.

Правая сторона лица продержалась ещё несколько секунд. Потом тоже обмякла.

Анна сидела и смотрела. Она знала, что нужно встать. Позвонить врачу. Вызвать кого-то. Сделать что-то. Но тело не слушалось. Она сидела и смотрела на женщину, которая была её матерью – и, может быть, кем-то ещё. Или чем-то ещё. Или...

Дневник на груди Ирен шевельнулся.

Анна замерла.

Нет. Показалось. Ветер, сквозняк, что-то...

Дневник шевельнулся снова. Его страницы перелистнулись – одна, другая, третья – и он закрылся сам. Медленно, как будто нехотя. Обложка сменила цвет в последних лучах утреннего света: из неопределённого серо-зелёного – в чистый, глубокий изумруд.

Анна протянула руку – и отдёрнула.

Дневник был тёплым. Она чувствовала это на расстоянии – волну тепла, исходящую от клеёчатой обложки. Это было неправильно. Это было невозможно. Книга не может быть тёплой сама по себе. Книга не может закрываться сама. Книга не может...

«Положи в коробку».

Анна оглянулась. Голос звучал в её голове – или в комнате? – и был похож на голос матери. На оба голоса матери. На тот, который Ирен использовала, когда хотела, чтобы дети слушались. На тот, который – теперь Анна понимала – всегда казался ей *составным*, будто несколько нот, слитых в аккорд.

– Мама?

Молчание. Ирен лежала неподвижно. Её грудь больше не поднималась.

Анна встала. Ноги дрожали, но держали. Она подошла к кровати, осторожно, как подходят к спящему ребёнку, которого боятся разбудить. Взяла дневник – двумя руками, чтобы не уронить. Обложка была тёплой, почти горячей на ощупь. Под пальцами она казалась *живой* – не как книга, а как кожа.

Анна вздрогнула и едва не выпустила дневник.

«Коробка. На шкафу. Туда».

Голос был мягче. Усталый. Как будто тот, кто говорил, уходил всё дальше.

Коробка стояла на верхней полке шкафа – картонная, потемневшая от времени, с надписью «Архив» выцветшим синим фломастером. Анна знала эту коробку. Мать хранила в ней старые письма, фотографии, какие-то документы. Анна никогда не заглядывала внутрь. Это было личное. Мамино.

Теперь – её.

Она сняла коробку с полки. Открыла. Сверху лежали пожелтевшие конверты, связанные бечёвкой. Фотографии – чёрно-белые, с зубчатыми краями. Какие-то тетради, свёрнутые в трубку. Несколько карандашей, огрызок стирательной резинки.

И запах. Тот самый кисловатый запах, который Анна почувствовала, листая дневник. Здесь он был сильнее – почти осязаемый, как влажная ткань на лице.

Анна положила дневник поверх писем. Обложка всё ещё была тёплой, но жар уходил – медленно, как остывает чашка с чаем, как остывает тело.

Как остывает тело.

Анна обернулась к кровати. Ирен лежала так, как она её оставила – руки вдоль тела, лицо спокойное. Но теперь это было *другое* спокойствие. Пустота вместо покоя. Отсутствие вместо присутствия.

Девяносто три года. Семьдесят три из них – *какие?* Что происходило все эти годы, о чём мать молчала, что скрывала за своими странностями – её привычкой разговаривать сама с собой, её левой рукой, которая иногда писала *сама по себе*, её взглядом, который временами казался Анне *раздвоенным?*

Анна вспомнила, как однажды – ей было лет двенадцать – она увидела мать в саду. Ирен стояла у яблони и разговаривала. Не с кем-то – с собой. Но не так, как люди разговаривают сами с собой, обдумывая что-то вслух. Она *спорила*. Отвечала невидимому собеседнику, качала головой, прижимала руку к груди. Анна тогда испугалась – по-детски, без слов – и убежала в дом. Потом спросила у отца, что с мамой.

Отец посмотрел на неё долгим, странным взглядом.

– У твоей мамы есть друг, – сказал он. – Очень старый друг. С которым она разговаривает, когда думает, что никто не слышит.

– Какой друг?

– Ты поймёшь, когда вырастешь.

Анна выросла. И так и не поняла.

До сегодняшнего дня.

Она закрыла коробку. Руки всё ещё дрожали, но теперь дрожь была тише – усталость вместо страха, опустошение вместо паники.

Нужно было делать что-то. Звонить врачу. Оформлять документы. Связываться с похоронным бюро. Звонить Майе – да, нужно позвонить Майе, дочь должна знать, что бабушка...

Бабушка.

Анна вдруг поняла, что никогда не называла мать *бабушкой* при Майе. Всегда – прабабушкой. «Твоя прабабушка Ирен». Будто пропуская поколение. Будто...

«Я не хотела этого для неё».

Строчка из дневника всплыла в памяти. Левая рука. Мягкий почерк.

«Ни для кого из них».

Анна прижала коробку к груди. Внутри что-то шуршало – бумага, письма, старые документы. И где-то в глубине – дневник. Тёплый. Живой.

Неправильное слово, – подумала Анна. *Книга не может быть живой*.

Но руки всё ещё помнили это тепло.

Она поставила коробку на пол у шкафа. Потом – вернулась к кровати. Села на стул, который не покидала последние три ночи. Взяла руку матери – правую руку, холодную теперь, неподвижную.

– Ты могла бы сказать, – прошептала Анна. – Ты могла бы объяснить. Я бы... я бы попыталась понять.

Молчание.

Анна сидела и держала руку матери. За окном начинало светлеть – настоящий свет, не серая пелена, а что-то похожее на солнце. Горы проступали из мглы, обретая цвет – синий,

лиловый, розовый на вершинах. Красиво. Ирен любила этот вид. Говорила, что горы помогают ей думать.

«Думать».

Теперь Анна понимала: мать всегда говорила «думать» во множественном числе. «Нам нужно подумать». «Мы ещё не решили». «Мы посмотрим».

Шестьдесят два года рядом с человеком, который говорил «мы» – и Анна ни разу не спросила, почему.

Солнечный луч упал на лицо Ирен. В этом свете она выглядела *мирной* – не пустой, как раньше, а именно мирной. Будто долгий спор наконец-то закончился. Будто два голоса – или больше? – наконец-то договорились.

Анна встала. Отпустила руку матери. Подошла к окну.

Горы сияли.

Ты не понимала, но приняла.

Голос в голове – или воспоминание о голосе? – звучал теперь совсем тихо. Почти неслышно.

Может быть, так лучше.

Анна не знала, как лучше. Она не знала почти ничего. Только одно: коробка стояла у шкафа. Дневник лежал внутри. И рано или поздно кто-то его откроет.

Она не будет это делать.

Пусть это сделает Майя.

Если захочет. Если осмелится. Если...

Анна отвернулась от окна. Достала телефон. Набрала номер врача.

Голос в её голове – если это был голос – замолчал.

Три часа спустя Анна сидела на кухне старого дома и подписывала документы. Врач ушёл, санитары забрали тело, соседка принесла еду, которую Анна не могла есть. Всё было правильно. Всё было *нормально*. Смерть случается. Старые люди умирают. Дочери хоронят матерей.

Коробка стояла на столе рядом с ней.

Анна не планировала её открывать. Даже смотреть на неё не хотела. Но руки сами потянулись к крышке, сами её приподняли, сами извлекли дневник.

Обложка была холодной.

Анна открыла последнюю страницу. Два почерка. Два текста. Последние слова матери – или *матерей?* – переплетённые в невозможный узор.

И под ними – ещё одна строка. Которой раньше не было.

«Когда придёт время – она поймёт. Или нет. Мы сделали всё, что могли».

Почерк был третьим. Ни мягким, ни острым. Чем-то *между*.

Анна захлопнула дневник. Положила в коробку. Закрыла крышку.

Её пальцы оставили влажные следы на картоне. Она вытерла руки о юбку. Встала. Отнесла коробку к шкафу в прихожей. Поставила на верхнюю полку, за старые чемоданы.

Там она и останется.

Пока кто-то не придёт за ней.

Вечером Анна наконец-то позвонила дочери.

– Прабабушка умерла, – сказала она. Голос был ровным. – Сегодня утром. Тихо, во сне.

Майя молчала. Потом – вздох.

– Мама, мне так жаль...

– Всё хорошо. – Анна сама не знала, зачем говорит это. – Она была готова. Мы... она была готова.

– Ты в порядке?

– Да. Есть вещи, которые нужно разобрать. Архив, документы. Я пришлю тебе коробку.

– Какую коробку?

Анна помедлила. За окном темнело. Горы снова становились силуэтами.

– С бумагами прабабушки. Там есть... кое-что, что она хотела передать тебе.

– Мне?

– Тебе.

Молчание в трубке. Потом:

– Хорошо. Присылай. Когда похороны?

Они обсудили детали. Дату, место, кого позвать. Обычные вещи. Нормальные. *Правильные.*

Когда Анна повесила трубку, её руки снова дрожали.

Она не рассказала Майе о двух почерках. О том, как левая рука писала отдельно от правой. О голосе в голове, который звучал как *два* голоса. Она не рассказала ничего.

Может быть, это было правильно.

Может быть, нет.

Анна легла спать в комнате, которая пахла смертью и кисловатыми чернилами. Закрывает глаза.

Ей снился дневник. Он лежал на белом столе в пустой комнате, раскрытый на чистой странице. И пока Анна смотрела, на странице появлялись слова. Два почерка, потом три, потом – *пять*. Они наслаивались друг на друга, сплетались, становились нечитаемыми.

Анна проснулась в поту.

За окном светало.

Коробка стояла на полке. Закрытая. Молчащая.

Пока.



Часть I: Пробуждение

Глава 1: Левая сторона наследства

Краков, сентябрь 2024

Образец под микроскопом выглядел как карта несуществующей страны.

Майя Ковальская отрегулировала фокус, и границы проступили отчётливее – там, где клетки одного генотипа встречались с клетками другого. Линия раздела была неровной, рваной, как береговая линия после шторма. По одну сторону – ткань с набором хромосом 46,XX. По другую – 46,XY. Женское и мужское, сплетённые в одном теле так тесно, что никакой скальпель не смог бы их разделить.

Химеризм. Её специальность. Её проклятие.

Майя записала показания в журнал – время, номер образца, координаты границы – и откинулась на спинку стула. Лаборатория была пуста; большинство коллег ушли часа два назад, когда часы показали шесть. Сейчас было почти девять, и за окнами Института нейронаук стужались сентябрьские сумерки. Краков готовился ко сну, а она всё ещё сидела перед микроскопом, изучая чужие клетки.

Чужие – потому что свои она не изучала. Никогда.

Телефон на столе завибрировал. Майя покосилась на экран, увидела «Мама» и на мгновение задумалась, стоит ли отвечать. Потом всё-таки взяла трубку.

– Да.

– Майя. – Голос матери звучал устало. – Ты получила посылку?

– Какую посылку?

– Я отправила три дня назад. Курьерской службой. Должна была прийти.

Майя вспомнила: утром консьерж её дома что-то говорил о доставке. Она кивнула и прошла мимо, думая о сегодняшних экспериментах. Коробка, наверное, до сих пор стоит в холле.

– Я ещё не дома.

– В девять вечера?

– Работа.

Пауза. Майя почти слышала, как мать подбирает слова – осторожно, как подбирают осколки разбитой чашки.

– Это вещи прабабушки. Я говорила тебе.

– Я помню.

Она не помнила. Или помнила, но предпочла забыть. Похороны прабабки прошли полгода назад, в марте. Майя не поехала – защищалась какая-то магистерская работа, которую она курировала, и отлучиться было невозможно. Так она сказала матери. Так она сказала себе.

На самом деле она просто не хотела.

– Майя, там есть вещи, которые она хотела передать тебе лично.

– Мне?

– Тебе. – Голос матери стал твёрже. – Она просила. Перед... в конце.

Майя потёрла переносицу. Левая рука – она всегда машинально использовала левую для таких жестов, хотя в детстве её переучили на правую.

– Хорошо. Я посмотрю.

– Там дневник. Обязательно посмотри дневник.

– Мама, я сказала – посмотрю.

Снова пауза. Дольше, чем раньше.

– Ты злишься на меня?

– Нет. Я просто устала.

– Ты всегда устала.

Это было правдой, и Майя не стала спорить. Они попрощались – коротко, без лишних слов, как всегда. Майя положила телефон на стол и долго смотрела на чёрный экран.

Прабабка Ирен. Девяносто три года жизни, из которых Майя помнила, может быть, пять-шесть встреч. Старый дом в Закопане, запах яблочного пирога, руки в муке. И ещё – взгляд. Станный взгляд, который прабабка бросала на неё, когда думала, что Майя не видит. Будто изучала. Будто искала что-то.

Или кого-то.

Образец под микроскопом принадлежал пятилетнему мальчику. Его звали Якуб, и он не знал, что половина клеток его тела – от сестры, которая так и не родилась. Тетрагаметический химеризм: два эмбриона слились на ранней стадии развития, и вместо близнецов на свет появился один ребёнок с двумя наборами ДНК.

Майя работала с такими случаями уже восемь лет. Сначала – в рамках диссертации, потом – как независимый исследователь. Межблизнецовый микрохимеризм, фетоматеринский перенос клеток, спонтанная абсорбция близнеца *in utero* – она знала об этом всё, что можно было знать. Писала статьи, выступала на конференциях, консультировала генетиков со всей Европы.

И никогда, ни разу, не брала образец собственной ткани.

Её химеризм был задокументирован – случайно, во время рутинного анализа в студенческие годы. Лаборант обратил внимание на аномалию и сообщил куратору. Куратор сообщил Майе. Она выслушала, кивнула и попросила не включать это в официальные записи.

Тридцать четыре процента клеток в её левой руке несли Y-хромосому.

Брат-близнец. Нерождённый. Впитанный.

Майя предпочитала не думать об этом. Химеризм был её работой, не её жизнью. Она изучала чужие границы, чужие карты, чужие страны внутри чужих тел – и держала собственную страну закрытой.

Это было проще.

Она выключила микроскоп в половине десятого. Убрала образцы в холодильник, записала последние наблюдения, проверила, что все приборы отключены. Ритуал, который она выполняла каждый вечер – одинаково, в той же последовательности, с той же методичной точностью. Контроль. Структура. Порядок.

Когда всё вокруг тебя состоит из чётких правил, легче не замечать то, что правилам не подчиняется.

Дорога домой заняла двадцать минут. Майя шла пешком – её квартира была в Казимеже, в старом еврейском квартале, в доме, который помнил времена, когда эти улицы говорили на идише. Сентябрьский воздух пах палой листвой и рекой; Висла текла где-то рядом, невидимая в темноте, но осязаемая – как низкий гул на границе слышимости.

Консьерж спал за стойкой. Коробка стояла там, где он её оставил – на полу, рядом с почтовыми ящиками. Картонная, потемневшая, с наклейкой курьерской службы. «А. Ковальская – М. Ковальской». Почерк матери – ровный, аккуратный, учительский.

Майя подняла коробку. Она оказалась легче, чем выглядела, и это почему-то разочаровало. Девяносто три года жизни – и вот во что они превратились. В несколько килограммов бумаги и картона.

В лифте она поставила коробку на пол и смотрела на неё сверху вниз. На крышке – пятна, похожие на кофейные разводы. Или на что-то другое. В тусклом свете лифта было не разобрать.

Там дневник. Обязательно посмотри дневник.

Майя не любила дневники. Не вела своих, не читала чужих. Что-то было неправильное в том, чтобы записывать мысли – будто ты расщепляешь себя на того, кто думает, и того, кто записывает, и создаёшь третьего, который потом будет это читать. Слишком много людей в одной голове.

Лифт дёрнулся и остановился на её этаже.

Квартира встретила её темнотой и тишиной. Майя зажгла свет в прихожей, поставила коробку на пол, сняла куртку. Всё как обычно. Ничего необычного.

Она прошла на кухню, налила воды, выпила. Потом вернулась в прихожую и посмотрела на коробку.

Коробка смотрела на неё.

Глупая мысль. Картон не смотрит. Бумага не смотрит. Но Майя стояла в прихожей своей квартиры, в городе, где она прожила последние десять лет, и чувствовала взгляд. Не враждебный. Не доброжелательный. Просто – *внимательный*.

Она тряхнула головой. Усталость. Долгий день. Образцы под микроскопом, карты несуществующих стран, границы между клетками.

– Хватит, – сказала она вслух. Голос прозвучал странно в пустой квартире – одинокий, резкий.

Она подхватила коробку и понесла в гостиную. Поставила на стол. Включила лампу.

Крышка открылась легко – скотч, которым мать её заклеила, отошёл сам, будто его размягчило время. Или что-то другое.

Внутри пахло старой бумагой. И ещё чем-то – кисловатым, странным, на границе узнавания. Запах, который Майя не могла назвать, но который казался знакомым. Будто она чувствовала его раньше, в детстве, в каком-то месте, которое забыла.

Сверху лежали фотографии.

Майя вынимала их по одной, раскладывая на столе. Чёрно-белые, с зубчатыми краями – мода пятидесятых, шестидесятых. Молодая женщина с тёмными волосами, собранными в узел. Тот же узел, та же женщина – но старше, с сединой на висках. Мужчина в костюме, с усами, как у актёров старых фильмов. Дети – девочка в клетчатом платье, мальчик с велосипедом.

Прабабка Ирен. Её муж, умерший до рождения Майи. Бабушка Зузанна – тоже умершая, пять лет назад. Чья-то свадьба, чьё-то крещение, чей-то юбилей.

Лица людей, которых Майя не знала. История семьи, которую она никогда не изучала.

Она отложила фотографии и достала связку писем. Конверты пожелтели, чернила выцвели. Штемпели: Варшава, Краков, Закопане, какие-то города в Германии и Франции. Прабабка много путешествовала? Майя не помнила, чтобы кто-то об этом рассказывал.

Под письмами – тетради. Школьные, в клетку, с истёршимися обложками. Майя открыла одну наугад. Математические записи. Уравнения, графики, какие-то диаграммы. Почерк был мелким, убористым – не такой, каким прабабка подписывала открытки.

Другая тетрадь – то же самое. И третья. Формулы, которые Майя не понимала, обозначения, которых не знала. Кто была эта женщина? Учитель математики? Инженер?

Или что-то ещё?

На дне коробки лежал дневник.

Майя увидела его сразу – клеёнчатая обложка, зелёная, выцветшая неравномерно. Цвет странно менялся, когда она наклоняла голову – то густой изумруд, то что-то ближе к синему. Оптическая иллюзия. Игра света.

Она протянула руку – правую – и замерла.

Потом, не думая, протянула левую.

Пальцы коснулись обложки.

Тепло.

Майя отдернула руку. Посмотрела на свои пальцы – обычные пальцы, бледные, с коротко остриженными ногтями. Ничего особенного. Ничего странного.

Но дневник был тёплым. Не комнатной температуры, не прохладным, как должна быть бумага, пролежавшая в картонной коробке несколько дней. *Тёплым* – как кожа, как живое тело, как рука, которую кто-то только что держал.

Майя снова протянула левую руку. Медленно. Осторожно.

Прикосновение – и снова тепло. Ровное, устойчивое, почти приятное. Она положила ладонь на обложку целиком, и тепло поднялось по пальцам, по запястью, к локтю. Не обжигающее. Не пугающее. Просто – *присутствие*.

Она переложила руку на стол, рядом с дневником. Дерево было холодным.

Дневник был тёплым.

Это не имело смысла.

Майя была учёным. Восемь лет исследований, три десятка публикаций, международные гранты. Она знала, как работает теплопередача, знала, что бумага не может нагреваться сама по себе, знала, что у аномалий всегда есть объяснение.

Она достала телефон и включила инфракрасную камеру – приложение, которое использовала иногда для проверки температуры образцов в полевых условиях. Навела на дневник.

Экран показал: 32.4°C.

Температура тела. Почти.

Майя направила камеру на стол. 22.1°C. На стену. 21.8°C. Снова на дневник. 32.4°C.

Она села. Ноги вдруг стали ватными, и она не доверяла им держать её вес.

Тридцать два градуса. Дневник, который лежал в картонной коробке, в холодной почтовой комнате, должен был остыть до температуры окружающей среды. Термодинамика. Элементарная физика. Тепло переходит от горячего к холодному, пока не установится равновесие.

Но равновесия не было.

Майя снова коснулась обложки – теперь правой рукой. Тепло было там, но слабее. Приглушённое. Как звук сквозь стену.

Левой рукой – и тепло вернулось. Полное, насыщенное, *направленное*. Будто дневник откликался именно на эту руку. Именно на эти пальцы.

На те тридцать четыре процента клеток, которые несли Y-хромосому.

Майя отдернула руку так резко, что задела лампу. Та качнулась, тени заплясали по стенам.

Она встала из-за стола и отошла к окну. За стеклом – ночной Краков, огни Казимежа, силуэты крыш. Нормальный мир. Понятный мир. Мир, где бумага не нагревается сама по себе, где дневники не реагируют на прикосновение, где мёртвые прабабушки не оставляют загадочные послания.

Майя прижала ладони к холодному стеклу. Левая рука – чуть холоднее правой, как всегда. На полградуса, может, меньше. Это она знала с детства, хотя никогда не измеряла точно. Не хотела измерять.

Там дневник. Обязательно посмотри дневник.

Голос матери в голове – настойчивый, встревоженный. Мать что-то знала. Или подозревала. Или боялась узнать.

Майя обернулась. Дневник лежал на столе – невинный, молчаливый. Зелёная обложка в жёлтом свете лампы казалась почти чёрной.

Она подошла. Снова протянула левую руку.

Тепло – мгновенное, как приветствие. Как узнавание.

Там кто-то есть.

Мысль пришла неоткуда – или из той части сознания, которую Майя старательно держала закрытой последние тридцать четыре года. Она посмотрела на свою левую руку, лежащую на обложке дневника, и впервые – по-настоящему впервые – подумала о ней не как о части своего тела.

А как о чём-то *другом*.

В детстве она была леворукой. Это раздражало воспитателей в детском саду, раздражало учителей в школе. Девяностые годы, Польша, католическое воспитание – левая рука считалась неправильной, и Майю переучивали. Терпеливо, настойчиво, иногда – с мягким насилием, которое взрослые называли «заботой».

К семи годам она научилась писать правой. К десяти – почти забыла, что когда-то было иначе. Левая рука осталась – неловкая, неуклюжая, годная только для того, чтобы придерживать тетрадь или нести сумку.

Но иногда – ночью, в темноте, когда сознание отпускало контроль – левая рука делала что-то *сама*. Тянулась к предметам, которых Майя не собиралась касаться. Выводила каракули на случайных листках бумаги. Сжималась в кулак без причины.

Майя научилась не обращать внимания. Научилась *не замечать*.

Но сейчас, с дневником прабабки под пальцами, она не могла не замечать. Тепло пульсировало под кожей – ровно, ритмично, как второе сердцебиение. Её левая рука была *связана* с этой книгой. Как-то. Почему-то.

И книга была связана с ней.

Майя открыла дневник.

Страницы были плотными, желтоватыми, исписанными от руки. Чернила – синие, местами выцветшие до серого. Она перелистнула первую страницу, вторую, третью – записи шли сплошным потоком, без дат, без заголовков. Просто текст, текст, текст.

Почерк был округлым, мягким. Женским. Буквы наклонялись вправо, строки слегка поднимались к концу. Уютный почерк, домашний.

Майя перелистнула ещё несколько страниц – и остановилась.

Почерк изменился.

Не постепенно, как бывает, когда человек устаёт или торопится. *Резко*. На одной странице – округлые буквы с правым наклоном. На следующей – острые, угловатые, с наклоном влево. Будто писал другой человек.

Но подпись внизу обеих страниц была одинаковой: «И.»

Майя пролистала дальше. Два почерка чередовались без всякой системы – иногда по несколько страниц одного, потом – переход к другому. Иногда – на одной странице, два столбца рядом, будто диалог.

Она нашла место, где оба почерка присутствовали одновременно. Слева – мягкие буквы:
«Сегодня Зузанна спросила, почему я разговариваю сама с собой. Я сказала – потому что никто больше не слушает. Она посмотрела на меня странно. Дети всегда смотрят так, когда мы лжём».

Справа – острые буквы:

«Ложь – не точное определение. Мы не лжём. Мы упрощаем. Для неё суперпозиция – невозможность. Для нас – норма. Нет смысла объяснять невозможное тем, кто в нём не живёт».

Майя перечитала. Ещё раз. И ещё.

«Для нас суперпозиция – норма».

Суперпозиция. Квантовый термин. Состояние системы, которая одновременно находится в нескольких состояниях – пока не произведено измерение.

Откуда прабабка знала такие слова?

Она листала дальше – быстро, жадно, пытаясь понять. Два почерка спорили, соглашались, дополняли друг друга. Один – практичный, земной, о погоде, о покупках, о том, что Зузанна простудилась и нужно вызвать врача. Другой – абстрактный, теоретический, об уравнениях, о вероятностях, о «границе различимости».

И везде – «мы».

«Мы не спали три ночи подряд».

«Мы получили письмо от М.»

«Мы должны решить, как поступить с дневником».

Никогда – «я».

Майя остановилась на странице, датированной 1973 годом. Первая дата, которую она увидела в этом дневнике.

Мягкий почерк:

«Зузанна родила девочку. Анна. Красивое имя. Простое. Я смотрела на неё через стекло – маленькая, красная, сморщенная. Ничего особенного. И всё же – я чувствовала. Что-то передалось. Не знаю что. Надеюсь, не всё».

Острый почерк, ниже:

«Химеризм не подтверждён. Возможно, поколение отдохнёт. Это было бы оптимальным исходом. Когерентность нестабильна, передача непредсказуема. Лучшие, если Анна не узнает».

Анна. Её мать.

Майя почувствовала, как пол уходит из-под ног. Она знала это ощущение – вестибулярный сбой, дезориентация, симптомы стресса. Но знание не помогало. Руки дрожали, когда она перелистывала страницу.

«Мы сделали всё, что могли. Теперь – ждать. Если следующее поколение будет как Анна – линия прервётся сама. Если нет...»

Дальше – пробел. И потом, другим почерком, тем же годом:

«Если нет – нам придётся вмешаться».

Майя захлопнула дневник.

Руки дрожали. Левая – сильнее правой. Или ей казалось?

Она встала, отошла от стола. Комната вокруг была той же самой – её гостиная, её книжные полки, её растения на подоконнике. Всё на месте. Всё нормально.

Кроме дневника. Кроме тепла, которое она всё ещё чувствовала на кончиках пальцев. Кроме слов, которые она только что прочла.

«Химеризм не подтверждён».

Её прабабка знала. Знала о химеризме, знала о передаче, знала о чём-то, что передаётся из поколения в поколение. И писала об этом двумя почерками, от имени «мы».

Майя посмотрела на свою левую руку.

Тридцать четыре процента чужих клеток. XY-хромосомы в женском теле. Брат, который никогда не родился, но никогда и не умер – потому что часть его жила в ней, в этих пальцах, в этих мышцах, в этой коже.

Она никогда не думала о нём как о *ком-то*. Химеризм был генетической аномалией, биологическим курьёзом, темой для научных статей. Не личностью. Не сознанием. Не *голосом*. Но прабабка писала «мы». Двумя почерками. Семьдесят три года.

Майя вернулась к столу. Села. Положила обе руки на колени – подальше от дневника.

Она должна была думать рационально. Анализировать. Это её работа – смотреть на данные и делать выводы.

Данные: дневник, написанный двумя разными почерками. Разные почерки – разные паттерны мелкой моторики, что может указывать на разные неврологические состояния. Диссоциативное расстройство идентичности? Возможно. Задokumentированы случаи, когда альтернативные личности демонстрируют разные почерки, разный тембр голоса, даже разную остроту зрения.

Но диссоциация не объясняла тепло. Не объясняла, почему дневник реагировал на её левую руку. Не объясняла научные термины в записях женщины, родившейся в 1931 году.

Майя потянулась к дневнику – правой рукой. Открыла на случайной странице.

Острый почерк:

«Мера различимости между двумя состояниями определяется через trace distance: $D(\rho, \sigma) = \frac{1}{2} \text{Tr}|\rho - \sigma|$. Когда $D \rightarrow 0$, состояния становятся неразличимыми. Вопрос: что происходит с идентичностью, когда различимость исчезает?»

Формулы. Математические записи. На странице дневника, рядом с заметкой о том, что нужно купить муки и яиц.

Майя закрыла дневник. Открыла снова.

Мягкий почерк:

«Я боюсь. Она говорит, что бояться нечего, что мы – одно, что разделение невозможно. Но я чувствую иначе. Я чувствую, что однажды придётся выбрать – она или я. И я не знаю, кто выберет».

Два голоса. Два страха. Два взгляда на одну жизнь.

Майя провела пальцами по странице – левой рукой, неосознанно. Бумага была тёплой и гладкой. И под этим теплом, под этой гладкостью – что-то ещё. Что-то, что она не могла назвать, но что узнавала.

Молчание.

Странное слово пришло в голову само. Молчание – но не тишина. Не отсутствие звука. Что-то другое.

Майя замерла, прислушиваясь к собственным ощущениям. Её левая рука лежала на странице дневника, пальцы чуть согнуты, ладонь расслаблена. Тепло поднималось от бумаги – ровное, устойчивое.

Но за теплом было *ничего*.

Как комната, в которой должен кто-то быть – и которая пуста. Как телефон, который звонит и звонит, и никто не берёт трубку. Как вопрос, на который нет ответа – не потому что ответ неизвестен, а потому что тот, кто должен ответить, молчит.

Майя подняла руку и посмотрела на неё. Пальцы, ладонь, линии судьбы, которые она не умела читать. Обычная рука. Её рука.

И не её.

Там кто-то должен быть.

Мысль снова – из ниоткуда. Или из того места внутри, которое она не хотела исследовать.

Тридцать четыре процента клеток. XY-хромосомы. Нерождённый брат-близнец. Она знала это как факт – холодный, научный, безличный. Но сейчас, в тишине своей гостиной, с дневником прабабки перед глазами, факт перестал быть холодным.

Он стал *присутствием*. Или, точнее – *отсутствием присутствия*.

Кто-то должен был быть там, в этих клетках, в этих пальцах. Кто-то, чьи гены она носила, чьё тело было частью её тела. Но этот кто-то молчал. Не говорил. Не отвечал.

Может быть – не мог.

Майя встала и прошла в ванную. Включила свет, посмотрела на себя в зеркало.

Высокая, худощавая, резкие черты лица. Тёмные волосы, коротко стриженные – практичность важнее эстетики. Глаза – серо-зелёные, с лёгкой гетерохромией. Левый чуть темнее правого. Она всегда знала об этом, но никогда не придавала значения.

Сейчас она смотрела в эти глаза – разные, неодинаковые – и думала о границах. О картах несуществующих стран. О линиях, которые разделяют клетки с разными генотипами.

Где кончалась она – и начинался *он*?

Майя подняла левую руку, поднесла к лицу. Кожа на тыльной стороне ладони была чуть бледнее, чем на правой руке. Или ей казалось? Она никогда не сравнивала так внимательно.

Вены – чёткие, синеватые под кожей. Рисунок... такой же, как на правой руке? Она не помнила. Не обращала внимания.

Температура – да, левая рука чуть холоднее. Всегда была холоднее. Это она знала точно.

Майя провела пальцем по вене на левом запястье. Пульс – ровный, спокойный. Её пульс. *Только её пульс?*

Абсурдная мысль. Нелепая. Антинаучная.

Но она не уходила.

Она вернулась в гостиную. Дневник лежал на столе – закрытый, неподвижный. Обложка в свете лампы снова казалась зелёной, без синих оттенков.

Майя села напротив, не прикасаясь.

Что она знала? Что её прабабка вела дневник двумя почерками. Что эти почерки принадлежали двум разным... *кому*? Личностям? Частям сознания? Голосам?

Что прабабка знала о химеризме – и связывала его с чем-то, что передаётся из поколения в поколение.

Что дневник был тёплым – необъяснимо, невозможно тёплым.

И что её левая рука чувствовала это тепло сильнее, чем правая.

Майя потянулась к дневнику. Замерла.

Она была учёным. Она должна была исследовать. Но что-то останавливало её – страх? предчувствие? инстинкт самосохранения?

Она думала о маленьком Якубе, чьи образцы лежали сейчас в холодильнике института. Пятилетний мальчик, который не знал, что половина его – это кто-то другой. Который жил, играл, смеялся – и не слышал молчания внутри себя.

А она? Слышала ли она?

Тридцать четыре года. Тридцать четыре года она не слушала. Не хотела слушать.

Может быть, пора было начать.

Майя положила левую руку на дневник.

Тепло пришло сразу – знакомое, ровное, почти успокаивающее. Она закрыла глаза и попыталась сосредоточиться. Не на тепле. На том, что было *за* ним.

Молчание.

Глубокое, плотное, как вода в колодце. Не пустота – *ожидание*. Будто кто-то стоял за закрытой дверью и прислушивался. Будто кто-то хотел сказать что-то – и не мог.

Майя открыла глаза.

Её левая рука лежала на обложке дневника, и в этом не было ничего особенного. Обычная рука. Обычная книга.

Но она больше не могла притворяться, что всё обычно.

Там кто-то должен быть.

И этот кто-то молчал.

Часы показывали половину первого ночи. Майя встала, убрала дневник обратно в коробку – не глядя, не прикасаясь больше необходимого. Закрыла крышку. Отнесла в угол комнаты.

Завтра. Она разберётся завтра. После работы. После сна. Когда её голова будет яснее, когда усталость отступит, когда она сможет думать рационально.

Она легла в постель, закрыла глаза. Сон не шёл.

Левая рука лежала поверх одеяла. Майя не убирала её – почему-то казалось важным, чтобы рука была снаружи, на виду. Будто за ней нужно было присматривать.

«Мы так и не спросили, согласны ли они».

Строка из дневника – которую она видела мельком, пролистывая страницы. Острый почерк. Угловатые буквы.

Согласны на что?

Майя повернулась на бок, убрала левую руку под подушку. Закрыла глаза.

В темноте, на границе сна, ей показалось – только показалось, – что рука чуть-чуть *потеплела*. Самую малость. На долю градуса.

Будто кто-то отвечал.

Она проснулась в четыре утра – резко, без видимой причины. За окном было темно, в комнате – тихо. Всё на месте. Ничего странного.

Кроме того, что её левая рука сжимала угол подушки так крепко, что побелели костяшки.

Майя разжала пальцы. Посмотрела на руку. Обычная рука.

Но на подушке, там, где её пальцы только что были – влажный след. Не от пота. Что-то другое. Майя поднесла руку к лицу, понюхала.

Кисловатый запах. Тот самый, из коробки. Из дневника.

Она встала, включила свет. Осмотрела подушку – небольшое влажное пятно, уже подсыхающее. Осмотрела руку – ничего особенного, никаких порезов или ссадин, откуда могла бы выступить влага.

Но запах был.

Майя прошла в гостиную. Коробка стояла в углу, там, где она её оставила. Закрытая.

Она не стала открывать. Не сейчас. Не посреди ночи, когда мир за окном спит и всё кажется нереальным.

Вместо этого она села на диван и смотрела на коробку. Час, может быть, два. До тех пор, пока за окном не начало светлеть.

Левая рука лежала на колене – неподвижная, послушная. Но Майя чувствовала в ней что-то новое. Не тепло – оно ушло, когда она отошла от дневника. Что-то другое.

Присутствие.

Тихое, почти незаметное. Как шум собственного дыхания, который не замечаешь, пока не прислушаешься. Как биение сердца, которое становится слышимым только в полной тишине.

Кто-то был там. В её руке. В её теле. Кто-то, кто молчал тридцать четыре года.

И кто-то, кто только сейчас начинал просыпаться.

Утром она позвонила в институт и сказала, что задержится. Потом сделала кофе – крепкий, без сахара – и села за стол напротив коробки.

Дневник ждал.

Майя не была готова. Не была уверена, что когда-нибудь будет. Но она была учёным, и учёные не отворачиваются от данных, какими бы пугающими они ни были.

Она открыла коробку. Достала дневник. Положила на стол.

Обложка была тёплой.

Майя положила на неё левую руку и открыла первую страницу.



Глава 2: Два почерка

Краков, сентябрь 2024

Первая запись в дневнике была датирована двенадцатым марта тысяча девятьсот пятьдесят первого года.

Майя прочитала дату трижды, прежде чем поверила. Семьдесят три года. Этот дневник вели семьдесят три года – дольше, чем она прожила на свете, дольше, чем жили многие люди. Клеёночная обложка, которая казалась ей старой, но не *настолько* старой, хранила записи, начатые за сорок лет до её рождения.

Почерк на первой странице был мягким, округлым. Буквы наклонялись вправо, строки чуть поднимались к краю – почерк человека, который пишет быстро, не задумываясь о форме.

«Сегодня я решила начать. Доктор Ковальский говорит, что записывать поможет. Что если я буду видеть мысли на бумаге, они перестанут казаться такими странными. Я не верю ему, но попробую. Хуже не будет. Меня зовут Ирен. Мне двадцать лет. Я живу в Закопане. Работаю учительницей математики в школе. Это всё, что я могу сказать о себе – потому что остальное я не понимаю сама».

Майя перелистнула страницу.

«Я не знаю, как объяснить. Иногда мне кажется, что я – не одна. Не в том смысле, что рядом кто-то есть. В том смысле, что внутри – кто-то есть. Другой голос. Другие мысли. Они приходят, когда я не жду, и уходят, когда я пытаюсь их поймать. Доктор Ковальский говорит, что это нормально. Что у всех есть внутренний диалог. Но это не диалог. Это – другой человек. Я чувствую разницу. Я не сумасшедшая. Я знаю, что не сумасшедшая. Но как доказать это – себе и другим?»

Внизу страницы – подпись. Простая, без украшений: «И.»

Майя пролистала ещё несколько страниц. Записи шли нерегулярно – иногда каждый день, иногда с перерывами в недели или месяцы. Молодая женщина писала о работе, о погоде, о соседях. Обычная жизнь обычного человека.

А потом – на двадцать третьей странице – почерк изменился.

Майя заметила это не сразу. Сначала ей показалось, что Ирен просто устала или торопилась. Но чем дольше она смотрела, тем отчётливее видела различия.

Новый почерк был острым, угловатым. Буквы наклонялись влево – зеркально первому почерку. Строки шли ровно, без подъёмов и спусков, будто по линейке. Почерк человека, который контролирует каждое движение пера.

«Ирен ошибается. Она думает, что я – её изображение. Что если она будет достаточно долго записывать, я исчезну. Но я не изображение. Я – такая же реальная, как она. Просто – другая. Меня зовут Ирена. Это важно. Не «Ирен» – «Ирена». Разница в одной букве, но эта буква – всё. Я не знаю, откуда я появилась. Не помню момента, когда начала существовать. Но я помню момент, когда поняла, что существую отдельно. Мне было семь лет – нам было семь лет – и мы смотрели в зеркало. Ирен подняла правую руку. Я подняла левую. В зеркале мы совпали. В голове – нет».

Подпись: «Ирена».

Не «И.» – полное имя. Будто этот голос хотел, чтобы его различали.

Майя откинулась на спинку стула. Её сердце билось чаще, чем должно было. Она сделала глубокий вдох, потом ещё один. Успокоилась.

Диссоциативное расстройство идентичности. Это первое, что приходило в голову. Состояние, при котором в одном теле существуют несколько отдельных личностей, каждая со своей

памятью, характером, иногда – со своими физиологическими особенностями. Редкое, но задокументированное. Изученное.

Объяснимое.

Майя вернулась к дневнику с этой мыслью – как с щитом против того, что не хотела признавать.

Следующие страницы подтверждали её теорию. Два почерка чередовались – иногда через страницу, иногда через несколько строк. Ирен и Ирена вели что-то вроде диалога, хотя никогда не обращались друг к другу напрямую. Каждая писала о своём, но темы пересекались, отсылались эхом.

Ирен – о повседневном:

«Сегодня в школе Малгожата Новак опять плакала. Её отец пьёт. Я хотела обнять её, но не смогла – учителям нельзя. Вместо этого я задержала её после уроков и объяснила дроби ещё раз. Она улыбнулась. Этого достаточно».

Ирена – о абстрактном:

«Сострадание – эволюционный механизм. Мы чувствуем боль других, потому что это помогает виду выживать. Но что происходит, когда сострадание направлено внутрь? Когда одна часть сознания жалеет другую? Это рекурсия. Бесконечный цикл. Нужно прервать его – но как?»

Майя читала, делая пометки в блокноте. Она привыкла работать с данными – структурировать, классифицировать, искать паттерны. Дневник прабабки был просто ещё одним набором данных. Так она себе говорила.

К полудню она дошла до записей шестидесятих годов. Ирен к тому времени была замужем, родила дочь Зузанну. Ирена – по-прежнему писала об абстракциях, но теперь в её записях появились формулы.

«Проблема измерения. Если наблюдатель – часть системы, то наблюдение меняет систему. Мы не можем увидеть себя объективно, потому что акт смотрения уже искажает картину. Но что, если наблюдателей два? Что, если один смотрит, пока другой является наблюдаемым?»

И чуть ниже – уравнение, которое Майя не узнала. Какая-то матричная операция, греческие буквы, символы, которых она не встречала в стандартных учебниках.

Откуда учительница математики из Закопане знала такие вещи?

К трём часам дня Майя поняла, что проголодалась. Она не завтракала и пропустила обед, полностью погружённая в дневник. За окном светило солнце – яркое, сентябрьское, – и она вдруг осознала, что сидит в полумраке, не включив лампу.

Она встала, потянулась. Спина затекла от неудобной позы. Левая рука – та самая, которой она листала страницы последние несколько часов, – покалывала. Неприятно, как от слабого электрического разряда.

Майя потрясла рукой. Покалывание не прошло.

Она пошла на кухню, сделала бутерброд, съела его стоя у окна. Краков внизу жил своей жизнью – машины, прохожие, голуби на крыше соседнего дома. Нормальный мир. Понятный.

Покалывание в руке не проходило.

Майя осмотрела ладонь. Ничего особенного – кожа чуть покраснела, будто от трения о бумагу. Она провела пальцами правой руки по левой ладони. Ощущение было странным: левая рука чувствовала прикосновение острее, чем обычно. Каждая линия на коже, каждый завиток отпечатка – как под увеличительным стеклом.

Тактильная гиперчувствительность. Ещё один симптом, который нужно было записать и проанализировать.

Она вернулась к столу, взяла блокнот, сделала пометку: «Покалывание и повышенная чувствительность в левой руке после контакта с дневником. Начало – приблизительно 11:00. Продолжительность – более 4 часов. Причина – неизвестна».

Потом отложила блокнот и снова открыла дневник.

Записи семидесятых годов были плотнее, насыщеннее. Ирен писала о дочери, о муже, о том, как стареют родители. Ирена – о науке, которую, судя по всему, изучала самостоятельно, по книгам и журналам.

«Пенроуз пишет о микротрубочках. Хамеорофф – о квантовых процессах в нейронах. Они близки, но не понимают главного. Сознание – не продукт квантовых вычислений. Сознание – это сама суперпозиция. Мы не вычисляем – мы существуем во всех состояниях одновременно. Коллапс – это иллюзия, которую создаёт декогеренция».

Майя остановилась на этой записи. Она знала имена – Роджер Пенроуз, Стюарт Хамеорофф. Их теория о квантовой природе сознания была спорной, большинство нейробиологов её отвергали. Но сама Майя никогда глубоко не вникала в эту область – слишком далеко от её специализации.

Её прабабка, судя по всему, вникала. И шла дальше.

«Мы – доказательство. Ирен и я – одно тело, два сознания, одна нередуцированная волновая функция. Мы не коллапсируем, потому что нет внешнего наблюдателя, способного нас измерить. Мы – система, которая наблюдает сама себя. Резонансная стабилизация».

Майя прочитала абзац ещё раз. И ещё.

«Два сознания в одном теле» – описание диссоциативного расстройств. «Одна нередуцированная волновая функция» – квантовая механика. Её прабабка смешивала психиатрию и физику, создавая... что? Теорию? Метафору? Бред?

Или что-то, чему у Майи не было названия?

К вечеру покалывание в левой руке превратилось в постоянный гул – низкочастотный, едва заметный, но неотступный. Как шум крови в ушах, только в пальцах. Майя пробовала игнорировать, пробовала отвлечься, но ощущение не уходило.

Она позвонила в институт и сказала, что не придёт завтра. Личные обстоятельства. Голос на том конце – секретарь, Магда – удивился: Майя никогда не пропускала работу. Но вопросов не задал.

Майя положила трубку и посмотрела на свою левую руку. В свете настольной лампы кожа казалась нормальной – чуть бледнее правой, как всегда, но без видимых изменений. Вены проступали синеватыми линиями под кожей. Обычные вены. Обычный рисунок.

Или нет?

Она достала телефон, открыла галерею. Где-то там, среди сотен фотографий, была одна, которую она сделала несколько лет назад – для статьи о химеризме. На ней были её руки, положенные рядом для сравнения. Она прокрутила ленту назад – год, два, три – и нашла.

Сравнила.

Вены на левой руке были в том же месте. Тот же рисунок. Ничего не изменилось.

Майя выдохнула. Паранойя. Обычная паранойя, вызванная недосыпом и странными записями в старом дневнике. Её тело было её телом. Ничего не менялось.

Но покалывание не проходило.

Ночью она снова читала дневник.

Записи восьмидесятых и девяностых были реже – Ирен старела, рука уставала, почерк становился менее разборчивым. Ирена, напротив, писала всё больше – страницы формул, схем, диаграмм. Некоторые Майя могла понять, другие – нет.

Она нашла запись, датированную тысяча девятьсот девяносто седьмым годом. Год смерти мужа Ирен – это Майя помнила из семейных рассказов.

Почерк Ирен – дрожащий, неровный:

«Стефан умер сегодня. Сердце. Я держала его руку, когда он уходил. Он смотрел на меня – и я не знаю, видел ли он меня. Или её. Или нас обеих. Он так и не спросил. За сорок лет – ни разу. Может быть, знал. Может быть, не хотел знать. Теперь уже не важно. Я осталась одна. Мы остались одни. Это странно – думать «мы», когда речь об одиночестве».

Чуть ниже – почерк Ирены:

«Смерть – декогеренция. Сознание Стефана взаимодействовало с окружающей средой и коллапсировало в одно из возможных состояний – то, которое мы называем «отсутствием». Но информация не исчезает. Она рассеивается. Может быть, часть его – в нас. Как часть нас – будет в тех, кто придёт после».

Майя закрыла дневник. Положила руки на колени.

«Часть его – в нас. Часть нас – в тех, кто придёт после».

Она думала о клетках своей левой руки. О Y-хромосомах, которые не должны были там быть. О брате, который никогда не родился.

Часть его – в ней. Это факт. Биологический, генетический, неоспоримый.

Но Ирена писала не о биологии. Она писала о *сознании*. О чём-то, что передаётся – не с генами, а... как?

Майя не знала. Не хотела знать.

Но покалывание в левой руке напоминало: незнание не означает несуществование.

На следующее утро она отнесла дневник в институт.

Это было импульсивное решение – не запланированное, не обдуманное. Просто в какой-то момент она поняла, что не может больше читать эти записи в одиночестве, в своей квартире, с покалывающей рукой и мыслями, которые отказывались складываться в логичную картину.

Лаборатория была пуста – большинство коллег ещё не пришли. Майя заперла дверь, положила дневник на стол и достала оборудование для анализа.

Химический анализ чернил. Стандартная процедура – она делала это десятки раз, исследуя старые документы для разных проектов. Газовая хроматография, масс-спектрометрия. Рутинная.

Она взяла образец с первой страницы – крошечный соскоб чернил, невидимый глазу. Потом – с двадцать третьей, где впервые появился второй почерк. Потом – ещё несколько, из разных частей дневника.

Результаты пришли через час.

Майя смотрела на экран и не верила.

Химический состав всех образцов был идентичен. Одни и те же чернила – стандартная синяя паста на масляной основе, производство шестидесятых-семидесятых годов. Одна партия. Возможно – одна ручка.

Но кристаллическая структура была разной.

Она перепроверила трижды. Загрузила образцы снова, откалибровала приборы, повторила анализ. Результат не менялся.

Чернила с мягким почерком – структура А. Чернила с острым почерком – структура Б. Химически – одно и то же. Физически – разное. Как будто одни и те же молекулы решили выстроиться по-разному, в зависимости от того, кто держал ручку.

Это не имело смысла. Кристаллическая структура чернил зависит от условий высыхания – температуры, влажности, скорости нанесения. Она не зависит от *человека*, который пишет. Не может зависеть.

Но зависела.

Майя сидела в пустой лаборатории и смотрела на данные. Графики на экране были чёткими, однозначными. Два разных паттерна. Два разных состояния одного вещества.

«Мы – одно тело, два сознания, одна нередуцированная волновая функция».

Слова прабабки зазвучали в голове – непрощенные, нежеланные. Майя тряхнула головой, пытаясь их прогнать. Это было ненаучно. Это было бессмысленно. Квантовые эффекты не проявляются на макроскопическом уровне – это азы физики, это знает каждый студент.

Но чернила были разными.

Она закрыла файл с результатами. Потом открыла снова. Посмотрела ещё раз.

Структура А. Структура Б. Одно вещество. Две формы.

Как будто сама материя помнила, чьи пальцы её касались.

Покалывание в левой руке к этому моменту стало привычным – фоновый шум, на который она почти не обращала внимания. Почти. Время от времени оно усиливалось – особенно когда она касалась дневника. Тогда покалывание превращалось в пульсацию, как будто под кожей билось второе сердце.

Майя старалась использовать правую руку. Это помогало. Немного.

Она вернулась домой к вечеру, унеся дневник с собой. В лаборатории оставаться не хотелось – слишком много приборов, слишком много искушения продолжать анализы, которые всё равно не давали ответов. Только новые вопросы.

В квартире она положила дневник на стол и села напротив. Не открывая. Просто – сидела и смотрела.

Обложка была зелёной. Или синей. Или чем-то между – цвет менялся в зависимости от угла, от освещения, от того, как долго Майя на него смотрела. Нестабильный цвет. *Неопределённый*.

Она вспомнила, как прабабка – Ирена, судя по острому почерку – описывала суперпозицию. «Существуем во всех состояниях одновременно». Коробка Шрёдингера, только вместо кота – цвет обложки. Зелёный и синий одновременно. Пока никто не смотрит.

Абсурд. Полный абсурд.

Майя открыла дневник.

Она искала конкретную запись – ту, которая зацепила её вчера, но которую она не успела обдумать. Что-то о границах. О различимости. Она пролистала страницы, стараясь не читать слишком внимательно – иначе снова затянёт, снова пройдут часы, а она даже не заметит.

Нашла.

Почерк Ирены, дата – две тысячи третий год:

«Мера различимости. Это ключ. Если две системы неразличимы – они тождественны. Не «похожи», не «идентичны по некоторым параметрам» – именно тождественны. Одна система в двух описаниях. Мы с Ирен различимы – но минимально. Граница между нами –

не стена, а мембрана. Она пропускает некоторые вещи. Блокирует другие. Но главное – она есть. Вопрос: что будет, если границу убрать? Если сделать различимость нулевой? Теория говорит: ничего не изменится. Потому что «две» системы станут «одной». Не слияние – просто признание факта, который всегда был. Практика говорит: я боюсь проверить».

Майя прочитала абзац дважды. Потом закрыла глаза и попыталась представить – две системы, которые постепенно становятся неразличимыми. Два... чего? Сознания? Личности? Голоса?

Когда она открыла глаза, взгляд упал на слово в середине страницы.

«Помню».

«Практика говорит: я **помню**, как боялась проверить».

Майя нахмурилась. Она только что читала этот абзац. Там было «боюсь». Не «помню» – «боюсь». Настоящее время, не прошедшее.

Она перечитала снова.

«Практика говорит: я **помню**, как боялась проверить».

«Помню».

Майя закрыла дневник. Открыла. Нашла ту же страницу.

«Помню».

Сердце заколотилось где-то в горле. Она достала телефон, сфотографировала страницу. Увеличила. Посмотрела на экране.

«Помню».

Может быть, она ошиблась. Прочитала неправильно в первый раз. Устала. Внимание рассеялось.

Она встала, прошла на кухню, налила воды. Выпила. Вернулась.

«Помню».

Это было написано чётко, однозначно. Острый почерк, наклон влево. «Помню».

Но она *помнила*, что там было «боюсь».

Майя провела следующий час, листая дневник в поисках других странностей. Она фотографировала страницы – одну за другой, десятки, сотни – создавая цифровую копию, которую можно было бы сравнить позже. Если текст менялся, она хотела это зафиксировать. Хотела *доказать*.

Себе. Или кому-то ещё. Или никому – просто доказать.

Покалывание в левой руке превратилось в жжение. Не болезненное, но настойчивое. Как будто рука была недовольна тем, что её заставляют работать. Или тем, что Майя не слушает то, что она пытается сказать.

Бредовая мысль. Руки не говорят. Руки – это мышцы, кости, нервы, кровеносные сосуды. Биологические структуры, подчиняющиеся законам физики и химии. Они не имеют *намерений*.

Но её левая рука вела себя так, будто имела.

К полуночи Майя закончила фотографировать. Четыреста тридцать семь снимков – вся читаемая часть дневника. Она сохранила их в облако, скопировала на жёсткий диск, отправила себе на почту. Три резервные копии. На всякий случай.

Потом она легла спать, положив дневник на тумбочку рядом с кроватью.

Левая рука горела.

Сон был странным – не кошмаром, но чем-то близким. Она стояла в комнате, которую не узнавала, перед зеркалом в тяжёлой деревянной раме. Отражение смотрело на неё – но это

была не она. Или она, но *другая*. Черты лица те же, глаза те же, но выражение – незнакомое. Жёсткое. Оценивающее.

Отражение подняло левую руку. Майя не поднимала свою, но её рука поднялась сама – будто привязанная к движению в зеркале.

Отражение улыбнулось.

Майя проснулась рывком, с бьющимся сердцем и влажной от пота спиной. За окном было светло – утро, раннее утро. Часы показывали шесть тридцать.

Она посмотрела на свою левую руку.

Рука лежала поверх одеяла – там, куда Майя её *не клала*. Она помнила, как засыпала – обе руки под одеялом, левая прижата к животу. А теперь левая рука лежала снаружи, ладонью вверх, пальцы слегка согнуты.

Как будто ждала чего-то.

Или кого-то.

Первым делом Майя проверила фотографии.

Она открыла галерею на телефоне, нашла вчерашние снимки, нашла ту самую страницу. Увеличила.

«Помню».

Слово было там. На фотографии, сделанной несколько часов назад.

Майя взяла дневник с тумбочки. Открыла на той же странице. Посмотрела.

«Знаю».

«*Практика говорит: я знаю, как боялась проверить*».

Не «помню». Не «боюсь». «Знаю».

Слово изменилось снова.

Майя перевела взгляд с дневника на телефон. С телефона – на дневник. «Знаю» и «помню». Две версии одного текста. Фотография – документальное свидетельство того, что ещё несколько часов назад это слово было другим.

Её руки дрожали. Левая – сильнее правой.

Текст менялся. *Текст на бумаге менялся*.

Это было невозможно. Чернила, впитавшиеся в бумагу семьдесят лет назад, не могут измениться. Молекулы не перестраиваются по собственной воле. Буквы не переписывают себя.

Но фотография не лгала. И её память – какой бы ненадёжной она ни была – не лгала тоже. Вчера там было «боюсь». Потом – «помню». Теперь – «знаю».

Три слова. Три состояния.

«*Существуем во всех состояниях одновременно. Коллапс – иллюзия*».

Голос Ирены в голове – не из дневника, из памяти. Слова, которые Майя прочитала вчера и которые теперь звучали как пророчество. Или как диагноз.

Она позвонила матери.

Анна ответила после третьего гудка – сонным, встревоженным голосом:

– Майя? Что случилось?

– Ничего. – Майя сама не знала, зачем звонит. – Я читаю дневник.

Пауза. Долгая, значительная.

– И?

– Мама, что ты знаешь о прабабке?

– Майя, сейчас семь утра.

– Я знаю. Что ты знаешь о ней?

Анна вздохнула. Майя слышала, как она садится в кровати, как скрипят пружины старого матраса.

– Она была странной. Ты это знаешь. Разговаривала сама с собой. Иногда... иногда казалось, что в ней два разных человека. Бабушка Зуанна говорила, что это нервы. Что война сделала это с людьми.

– Но она не была на войне. Ей было четырнадцать, когда война кончилась.

– Я знаю. – Голос матери стал тише. – Майя, почему ты спрашиваешь?

Майя посмотрела на дневник. На слово «знаю», которое ещё вчера было «боюсь». На свою левую руку, которая перестала покалывать и теперь просто *горела* – ровным, устойчивым жаром.

– Дневник... странный.

– Я знаю.

Это прозвучало так, будто Анна *действительно* знала. Не подозревала, не догадывалась – *знала*.

– Мама, ты его читала?

Молчание. Потом:

– Нет.

– Почему?

– Потому что она просила передать его тебе. Не мне. *Тебе*.

Разговор закончился ничем – Анна не хотела говорить больше, а Майя не хотела давить. Они попрощались как обычно, коротко и сухо, и Майя осталась одна в своей квартире, с дневником на тумбочке и вопросами, на которые не было ответов.

Она встала, приняла душ. Горячая вода лилась на кожу, смывая пот бессонной ночи. Левая рука под водой чувствовала себя иначе – острее, как будто нервные окончания вышли на поверхность. Майя потёрла её мочалкой – и вздрогнула от неожиданной интенсивности ощущения.

Гиперчувствительность. Третий день подряд.

Она вышла из душа, вытерлась, посмотрела на себя в зеркало. То же лицо, что вчера. То же тело. Те же глаза – серо-зелёные, левый чуть темнее правого.

Она подняла левую руку. Осмотрела ладонь, пальцы, запястье.

Вены.

Майя наклонилась ближе к зеркалу. Вены на её левой руке – синеватые линии под кожей – казались... ярче? Отчётливее? Она не могла сказать точно. Но что-то изменилось. Или менялось.

Она вспомнила фотографию из архива – ту, трёхлетней давности. Тогда она сравнивала и не нашла различий. Может быть, стоило сравнить ещё раз.

Майя сфотографировала свою руку – в том же ракурсе, при том же освещении, насколько это было возможно. Загрузила обе фотографии в программу для анализа изображений. Наложила одну на другую.

Результат был неоднозначным. Вены были в тех же местах – это она видела сразу. Но их *толщина* казалась разной. На новой фотографии – чуть больше. Или ей мерещилось?

Она измерила программными средствами. Разница была минимальной – в пределах погрешности. Но она *была*.

День прошёл в странном тумане. Майя пыталась работать – сидела за компьютером, читала статьи, отвечала на почту – но мысли постоянно возвращались к дневнику. К слову

«знаю», которое было «помню», которое было «боюсь». К чернилам с разной кристаллической структурой. К своей левой руке, которая горела и чувствовала всё острее обычного.

К вечеру она решила проверить ещё раз.

Открыла дневник на той же странице. Посмотрела на слово.

«Знаю».

Никаких изменений. Пока.

Она сфотографировала страницу. Закрыла дневник. Положила на стол.

Через час открыла снова.

«Знаю».

Ещё через час.

«Знаю».

Может быть, изменения происходили только ночью? Или только когда она не смотрела достаточно долго?

Или – и эта мысль была самой пугающей – изменения происходили только тогда, когда *что-то* решало, что им пора произойти?

Прежде чем лечь спать, Майя снова порылась в коробке с архивом. Она искала что-то – сама не знала что. Может быть, подсказку. Может быть, объяснение.

Среди старых писем и фотографий она нашла конверт, который не заметила раньше. Он был меньше других, без марки и штемпеля – видимо, переданный из рук в руки. На конверте – имя: «Ирен». Просто имя, без фамилии, без адреса.

Майя открыла конверт. Внутри – один листок, исписанный незнакомым почерком. Не мягким. Не острым. *Третьим.*

«Дорогая Ирен, Я не знаю, как начать. Ты сказала, что хочешь знать – но я не уверен, что готов рассказать. То, что произошло между нами, было... я не могу найти слов. Ты говорила, что это возможно. Я не верил. Теперь – верю. Но вера – это не понимание. Я чувствую её иногда. Краем сознания, на границе сна. Она там – далеко, но там. Как эхо в пустой комнате. Ты говорила, что это пройдёт. Что связь ослабеет со временем. Прошло три месяца. Она не ослабевает. Я не знаю, что делать. Я не знаю, чего хочу. Просто – скажи, что я не схожу с ума. М.»

Майя перечитала письмо. Ещё раз. И ещё.

«М.» Кто такой «М.»? Мужчина – судя по почерку и тону. Кто-то, кто был близок с прабабкой. Кто-то, с кем она делила... что?

«Я чувствую её иногда».

Её – с курсивом. Ирену? Тот второй голос, который писал острым почерком?

«Связь ослабеет со временем».

Связь. Между Ирен и этим «М.». Связь, которую можно *почувствовать*.

Майя положила письмо на стол рядом с дневником. Два документа. Два свидетельства. Два голоса из прошлого, которые говорили о чём-то, чего она не понимала.

Её левая рука горела.

Она легла спать с телефоном под подушкой – будильник, напомнивший бы проснуться ночью и проверить дневник. Глупая идея, но других не было.

Будильник сработал в три часа ночи. Майя проснулась – мгновенно, без обычной сонной пелены – и потянулась к тумбочке.

Дневник лежал там, где она его оставила. Закрытый.

Она открыла на нужной странице. Направила свет телефона.

«Знаю».

Никаких изменений.

Майя хотела закрыть дневник и вернуться ко сну. Но что-то остановило её руку – левую руку, которая вдруг перестала слушаться.

Рука лежала на странице. Пальцы – расслабленные, неподвижные. Майя смотрела на них, пытаюсь понять, почему не может их убрать.

И тогда она увидела.

На странице, рядом со словом «знаю», появилось что-то новое. Чернила проступали на бумаге – медленно, как кровь сквозь бинт. Буква за буквой.

«Ты».

Майя смотрела, не дыша. Её левая рука горела – не покальывала, не жгла, а *горела*, как будто внутри вспыхнул огонь.

«Ты слышишь».

Два слова. Почерк – не мягкий, не острый. Что-то между. Что-то *новое*.

Майя рванула руку от страницы. Отскочила от кровати, врезалась спиной в стену.

Дневник лежал на скомканных простынях. Открытый. На странице – те же слова.

«Знаю». И рядом – «Ты слышишь».

Майя смотрела на них, пока глаза не заболели от напряжения.

Слова не исчезали.

Слова были *настоящими*.

Она не спала до утра. Сидела в углу комнаты – подальше от дневника – и смотрела на свои руки. Левую и правую. Одинаковые и разные.

Покальывание прошло. Жжение прошло. Левая рука была обычной – чуть холоднее правой, как всегда.

Но Майя помнила, как она горела. Помнила, как не слушалась. Помнила слова, проступающие на бумаге.

«Ты слышишь».

Не вопрос. Утверждение. Кто-то – или что-то – *знал*, что она слышит. Или видит. Или... воспринимает.

Рациональное объяснение? Его не было. Галлюцинация? Возможно. Но галлюцинации не оставляют следов на бумаге. А слова были там – она проверила дважды, трижды, десять раз. «Ты слышишь». Чернила. Бумага. Реальность.

Реальность, которая не подчинялась правилам.

Майя встала, подошла к окну. За стеклом просыпался Краков – машины, прохожие, утренний свет. Нормальный мир. Понятный мир.

Она посмотрела на своё отражение в стекле. Уставшее лицо, растрёпанные волосы. Глаза – серо-зелёные, левый темнее правого.

«Мы с Ирен различимы – но минимально. Граница между нами – не стена, а мембрана».

Граница. Мембрана. Что-то, что пропускает некоторые вещи и блокирует другие.

Что, если граница истончалась?

Что, если слова на странице – это *она сама*, проступающая сквозь собственную кожу?

Майя закрыла глаза. Прижала левую руку к стеклу – холодному, реальному, понятному.

Рука была её рукой. Её телом. Её жизнью.

Но что-то внутри этой руки – тридцать четыре процента клеток, Y-хромосомы, чужой генотип – было *не только* её.

И это что-то начинало говорить.



Глава 3: Мера различимости

Краков, сентябрь 2024

Три дня Майя не открывала дневник.

Он лежал на столе в гостиной – там, куда она его положила той ночью, когда слова проступили на странице. Закрытый, неподвижный, безобидный на вид. Просто старая тетрадь в клеёнчатой обложке. Ничего особенного.

Но каждый раз, когда Майя проходила мимо, она чувствовала *его*. Не взгляд – дневники не смотрят. Что-то другое. Присутствие. Ожидание. Как будто книга знала, что рано или поздно её откроют снова.

Левая рука больше не горела. Покалывание прошло на второй день, оставив после себя только странную чувствительность – прикосновения ощущались острее, температура воздуха – отчётливее. Майя старалась не думать об этом. Старалась не думать о многом.

Она вернулась к работе. Образцы Якуба ждали анализа, статья требовала доработки, коллеги задавали вопросы о её отсутствии. Нормальная жизнь. Понятная. *Контролируемая*.

Но по ночам – когда контроль ослабевал – она лежала без сна и думала о словах.

«Ты слышишь».

Не вопрос. Утверждение. Кто-то знал.

Кто?

На четвёртый день она сдалась.

Не потому что хотела – потому что не могла больше притворяться. Слова на странице были реальными. Изменение текста было реальным. Чернила с разной кристаллической структурой были реальными. Она могла игнорировать это день, два, неделю – но рано или поздно реальность требовала объяснения.

Майя была учёным. Учёные объясняют.

Она села за стол, положила руки по обе стороны дневника – не касаясь – и посмотрела на зелёную обложку. Цвет сегодня был стабильным, без синих оттенков. Может быть, освещение. Может быть, что-то другое.

– Хорошо, – сказала она вслух. Голос прозвучал странно в пустой квартире. – Давай разберёмся.

Она открыла дневник.

Страница, на которой появились слова, выглядела так же, как три дня назад. «Знаю» – в строке текста. «Ты слышишь» – чуть ниже, между строк, другим почерком. Чернила высохли, ничем не отличались от остальных записей. Как будто эти слова были там всегда.

Майя сфотографировала страницу. Сравнила с фотографией трёхдневной давности. Идентично. Никаких новых изменений.

Она пролистала дальше, ища другие аномалии. Записи шли своим чередом – два почерка, две жизни, сплетённые в одну. Ирен писала о дочери, о муже, о стареющих родителях. Ирена – о физике, о сознании, о границах между состояниями.

Майя остановилась на записи, датированной тысяча девятьсот семьдесят третьим годом. Год рождения её матери – она помнила это из разговора несколько дней назад.

Почерк Ирен – дрожащий, неровный, будто писавшая плакала:

«Зузанна принесла её сегодня – показать. Маленькая, красная, с тёмными волосами. Анна. Моя внучка. Я смотрела на неё и думала: передалось ли? Есть ли в ней то, что есть

в нас? Я не хочу этого для неё. Не хочу, чтобы она жила так, как живём мы – с голосом в голове, который не замолкает, с границей внутри себя, которую нельзя пересечь. Но я не могу это контролировать. Никто не может. Это передаётся – или нет. Как цвет глаз. Как форма ушей. Как проклятие, которое ты не выбирал».

Чуть ниже – почерк Ирены, холодный и точный:

«Проклятие – неточный термин. Состояние – точнее. Нередуцированная суперпозиция сознания, передающаяся по материнской линии с вероятностью, которую мы не можем оценить. Анна не показывает признаков. Пока. Проявление может быть отложенным – у нас оно началось в семь лет, но это не универсально. Нужно наблюдать. Если она окажется как мы – придётся решать, что делать. Рассказать? Молчать? Позволить ей найти ответы самой – как нашли мы? Я не знаю. Ирен не знает. Мы обе – не знаем».

На полях – уравнения. Майя узнала некоторые символы: волновая функция, оператор плотности, след матрицы. Квантовая механика. Но применённая к чему-то, чего в учебниках не было.

Она сфотографировала страницу, увеличила уравнения. Попыталась разобрать логику, но её знаний не хватало. Она была нейробиологом, не физиком. Квантовая механика оставалась для неё территорией, куда она заглядывала издали – как турист, рассматривающий карту страны, в которую не собирается ехать.

Но теперь, кажется, страна сама пришла к ней.

Томаша Вишневого она помнила смутно.

Год назад, конференция по нейробиологии в Варшаве. Она выступала с докладом о химизме – рутинная презентация, десятки таких за карьеру. После доклада к ней подошёл мужчина: высокий, чуть сутулый, с взлохмаченными волосами и очками, которые постоянно сползали на нос.

– Вишне夫斯基, – представился он. – Физик. Ваш доклад был... интересным.

Она поблагодарила и попыталась уйти, но он продолжал:

– Нет, правда. Эта штука с разными генотипами в одном теле – она ведь ставит вопросы об идентичности, правда? О том, где кончается один человек и начинается другой. Это же философия, не только биология.

– Это генетика, – ответила она сухо. – Философия – не моя область.

Он улыбнулся – странной, асимметричной улыбкой.

– Ну да. Конечно. Но если когда-нибудь захотите поговорить о границах... физики много думают о границах. Квантовые переходы, фазовые состояния, всё такое. – Он протянул визитку. – Просто на случай.

Майя взяла визитку, сунула в карман и забыла о ней. До сегодняшнего дня.

Визитка нашлась в ящике стола, среди старых квитанций и забытых ручек. «Томаш Вишне夫斯基. Физик-экспериментатор. Ягеллонский университет». Номер телефона, электронная почта.

Майя смотрела на визитку и думала.

Ей нужен был физик. Кто-то, кто мог прочитать уравнения на полях дневника. Кто-то, кто понимал квантовую механику не как метафору, а как реальность.

Кто-то, кому можно было показать невозможное.

Она набрала номер.

– Вишне夫斯基 слушает.

Голос был таким же, как год назад – быстрым, чуть рассеянным, будто его владелец думал о трёх вещах одновременно.

– Это Майя Ковальская. Мы встречались на конференции в Варшаве. Год назад.

Пауза. Потом:

– Химеризм. Да, помню. Вы ещё сказали, что философия – не ваша область. – В голосе появилась улыбка. – Передумали?

– Не совсем. Мне нужна консультация. По физике.

– Какого рода физике?

Майя помедлила. Как объяснить? «У меня есть дневник, в котором меняется текст»? «Чернила имеют разную кристаллическую структуру в зависимости от того, кто писал»? «Моя мёртвая прабабка, кажется, пытается со мной связаться»?

– Квантовой, – сказала она наконец. – У меня есть... объект. С аномальными свойствами.

Мне нужен кто-то, кто может провести измерения.

Снова пауза. Дольше, чем раньше.

– Аномальными – это как?

– Я не могу объяснить по телефону. Вы можете встретиться?

– Когда?

– Сегодня. Сейчас. Если возможно.

Она услышала, как он хмыкнул – не недовольно, скорее удивлённо.

– Срочно, значит. Хорошо. Я на факультете, корпус физики, кабинет триста семь. Приезжайте.

Ягеллонский университет был в двадцати минутах езды от её квартиры. Майя взяла такси – не хотела тратить время на парковку. Дневник лежал в сумке, завёрнутый в шарф, как что-то хрупкое. Или опасное.

Факультет физики располагался в старом здании с высокими потолками и гулкими коридорами. Майя поднялась на третий этаж, нашла кабинет триста семь. Дверь была приоткрыта.

Внутри – хаос. Книги на полках, на столе, на полу. Приборы, которых она не узнавала, – металлические конструкции, провода, экраны с графиками. Запах кофе и чего-то химического. И в центре этого хаоса – Томаш Вишневский, склонившийся над ноутбуком с таким видом, будто от его работы зависела судьба мира.

Он поднял голову, когда она вошла.

– А, Ковальская. Быстро вы.

– Я сказала – срочно.

– Да, это я заметил. – Он встал, протянул руку. Рукопожатие было крепким, но коротким. – Садитесь. Кофе?

– Нет, спасибо.

Она села на единственный свободный стул – остальные были завалены бумагами. Достала дневник из сумки, положила на стол между ними.

Томаш посмотрел на зелёную обложку. Потом – на неё.

– Это и есть ваш аномальный объект?

– Да.

– Дневник?

– Дневник моей прабабки. Она умерла полгода назад. Вела его семьдесят три года.

Томаш поднял бровь.

– И что в нём аномального?

Майя сделала глубокий вдох. Сейчас начнётся самое сложное – объяснить то, что сама не понимала. Без того, чтобы показаться сумасшедшей.

– Текст меняется, – сказала она. – Слова на страницах – меняются. Я могу это доказать.

Она показала ему фотографии. Первую – со словом «боюсь». Вторую – «помню». Третью – «знаю». Четвёртую – с добавлением «Ты слышишь».

Томаш смотрел внимательно, листая галерею на её телефоне. Его лицо не выражало ничего – ни скептицизма, ни удивления. Просто концентрация.

– Вы уверены, что это одна и та же страница? – спросил он наконец.

– Абсолютно. Номер страницы, расположение текста, все остальные слова – идентичны.

Меняется только это.

– И вы сами не... редактировали фотографии?

– Нет.

– Хорошо. – Он отложил телефон, взял дневник. – Можно открыть?

– Да.

Он открыл на нужной странице. Посмотрел. Сравнил с фотографией.

– «Знаю» и «Ты слышишь». Оба присутствуют. Никаких изменений с момента последнего снимка?

– Никаких, которые я заметила.

Томаш задумчиво потёр подбородок. Его пальцы оставили след на стекле очков, но он не обратил внимания.

– Это интересно, – сказал он. – Очень интересно. Но не невозможно.

Майя подалась вперёд.

– Объясните.

– Ну смотрите. Самое простое объяснение – какие-то химические чернила, которые реагируют на условия среды. Температура, влажность, свет. Меняются условия – меняется видимый текст. Такие вещи существуют, симпатические чернила и всё такое. Возможно, ваша прабабка использовала что-то подобное.

– Я проверяла. Химический состав чернил обычный – стандартная паста на масляной основе.

– Хм. – Томаш снова посмотрел на страницу. – А что насчёт структуры?

– Кристаллическая структура – разная. Для разных почерков.

Теперь он посмотрел на неё – впервые за весь разговор – по-настоящему *внимательно*.

– Разная кристаллическая структура при одинаковом химическом составе?

– Да.

– Это... – Он не договорил. Встал, прошёлся по кабинету. Остановился у окна. – Это странно. По-настоящему странно.

– Я знаю.

– Нет, вы не понимаете. – Он обернулся. – Кристаллическая структура – это способ, которым молекулы организованы в пространстве. Она зависит от условий кристаллизации – температуры, давления, скорости охлаждения. Не от того, кто держит ручку. Это как... – Он поискал аналогию. – Как если бы вода замерзала в разный лёд в зависимости от того, кто её налил. Физически это не имеет смысла.

– Я знаю, – повторила Майя. – Поэтому я здесь.

Следующий час они провели, изучая дневник.

Томаш оказался именно тем, что Майя искала: учёным, который не отвергал аномалии с порога, но и не принимал их на веру. Он задавал вопросы – много вопросов – и требовал

доказательств. Когда Майя показала ему результаты химического анализа, он долго изучал графики, хмурился, качал головой.

– Это не подделка? – спросил он в какой-то момент.

– Я делала анализ сама. В своей лаборатории.

– Я не о том. Может, кто-то подделал сам дневник? Специально создал эти аномалии, чтобы... не знаю... произвести впечатление?

Майя подумала о своей прабабке. О девяностотрёхлетней женщине, которая семьдесят три года вела записи двумя почерками. О словах «Ты слышишь», проступивших на странице посреди ночи.

– Нет, – сказала она. – Это не подделка.

Томаш кивнул. Не как человек, который поверил – как человек, который принял рабочую гипотезу.

– Хорошо. Тогда давайте измерим.

Лаборатория Томаша была в подвале факультета – длинная комната с низким потолком, заставленная оборудованием. Осциллографы, спектрометры, что-то похожее на лазерную установку. И весы – несколько пар весов разного размера и точности.

– Начнём с простого, – сказал Томаш, указывая на два одинаковых прибора. – Аналитические весы. Точность – до сотых долей грамма. Стандартное оборудование для любой физической лаборатории.

Майя положила дневник на первые весы. Экран показал: 247.34 грамма.

– Теперь на вторые, – сказал Томаш.

Она переложила дневник. Экран показал: 247.34 грамма.

– Идентично. – Томаш записал цифры в блокнот. – Ничего аномального.

– Может, попробовать одновременно?

Он поднял бровь.

– Одновременно?

– Да. Два датчика измеряют один объект в одно и то же время. Если есть какая-то... нестабильность... она может проявиться.

Томаш задумался.

– Это нестандартная процедура. Но... – Он пожал плечами. – Почему нет?

Он достал из шкафа платформу – металлическую пластину с двумя датчиками, встроенными по краям. Объяснил:

– Это для измерения распределения массы. Обычно используется для калибровки, но можно применить и так. Объект кладётся на платформу, оба датчика измеряют давление одновременно. Сумма показаний должна равняться общей массе.

Майя положила дневник на платформу.

Левый датчик показал: 123.67 грамма.

Правый датчик показал: 123.37 грамма.

Сумма: 247.04 грамма.

Томаш нахмурился.

– Расхождение в тридцать сотых. – Он постучал по экрану, проверяя контакт. – Странно. Датчики откалиброваны, я проверял на прошлой неделе.

– Попробуйте ещё раз, – сказала Майя.

Он снял дневник, положил снова.

Левый: 123.52 грамма.

Правый: 123.52 грамма.

Сумма: 247.04 грамма.

– Теперь одинаково. Но сумма всё равно меньше, чем при обычном взвешивании. На тридцать сотых.

Майя почувствовала, как сердце забилось быстрее.

– Сделайте ещё раз. Несколько раз.

Они повторили эксперимент двенадцать раз.

Результаты были... странными.

Когда дневник взвешивали на обычных весах – всегда 247.34 грамма. Стабильно, воспроизводимо.

Когда клали на платформу с двумя датчиками – сумма всегда была 247.04 грамма. Разница в тридцать сотых. Но распределение между датчиками *менялось*.

Иногда левый показывал больше. Иногда – правый. Иногда – одинаково. Никакой закономерности.

– Это не должно происходить, – сказал Томаш, глядя на таблицу результатов. – Масса – это масса. Она не зависит от способа измерения. Если объект весит двести сорок семь граммов, он весит двести сорок семь граммов. Не двести сорок семь на одних весах и двести сорок семь целых ноль четыре на других.

– Но это происходит.

– Да. – Он снял очки, потёр глаза. – Это происходит.

Майя смотрела на дневник, лежащий на платформе. Зелёная обложка в свете лабораторных ламп казалась почти чёрной.

– Что это значит? – спросила она.

Томаш долго молчал. Потом:

– Я не знаю. Но если бы мне пришлось гадать... – Он запнулся, покачал головой. – Нет, это безумие.

– Скажите.

– Это похоже на... – Он снова замолчал. Потом выдохнул. – Ладно. Есть такая штука в квантовой механике. Называется «квантовая неопределённость». Суть в том, что некоторые свойства частицы не определены, пока их не измерят. Не «неизвестны нам» – именно *не определены*. Частица не имеет точной позиции, пока мы не посмотрим на неё. Не имеет точного импульса. Она существует в... суперпозиции всех возможных состояний.

– Я знаю, что такое суперпозиция.

– Да, но вот в чём штука. Это работает для частиц. Для электронов, фотонов, атомов. Не для макроскопических объектов. Книга – это триллионы триллионов атомов. Они взаимодействуют друг с другом, с воздухом, со светом. Это взаимодействие разрушает суперпозицию. Называется декогеренция. Поэтому мы не видим квантовых эффектов в повседневной жизни. Поэтому кот Шрёдингера – это мысленный эксперимент, а не реальность.

– Но?

Томаш посмотрел на дневник.

– Но если – *если* – каким-то образом декогеренция была бы подавлена... если бы макроскопический объект сохранял квантовую когерентность... тогда он мог бы существовать в суперпозиции состояний. И измерения давали бы разные результаты в зависимости от того, как именно мы измеряем.

– Это возможно?

– Нет. – Он покачал головой. – Нет, это невозможно. При комнатной температуре, на воздухе, в обычных условиях – невозможно. Декогеренция происходит за фемтосекунды. Нет никакого способа...

Он замолчал.

– Что? – спросила Майя.

– Ваша прабабка. Вы говорили, она вела дневник семьдесят три года. Что она делала? Кем была?

– Учительница математики. В Закопане.

– Учительница математики, которая знала квантовую механику?

Майя вспомнила уравнения на полях. Волновую функцию. Оператор плотности.

– Похоже на то.

Томаш снова посмотрел на дневник. Потом – на неё.

– Можно мне почитать?

Они вернулись в его кабинет. Томаш открыл дневник, начал листать – быстро, профессионально, останавливаясь на страницах с формулами.

– Так, это стандартная квантовая механика... это тоже... а вот это интересно. – Он ткнул пальцем в уравнение. – Trace distance. Мера различимости между квантовыми состояниями.

– Что это значит?

– Способ измерить, насколько два квантовых состояния отличаются друг от друга. Если trace distance равна нулю – состояния неразличимы. Если единице – максимально различны.

Он листал дальше. Остановился на записи, которую Майя ещё не видела.

– Вот это. – Его голос изменился – стал тише, напряжённее. – Это... я не уверен, что понимаю.

Майя наклонилась ближе. Почерк Ирены – острый, угловатый:

«Теорема: если мера различимости между двумя когнитивными состояниями стремится к нулю, состояния становятся тождественными. Не «похожими» – тождественными. Одна система в двух описаниях. Следствие: идентичность – не свойство системы, а мера её различимости от других систем. Когда различимость исчезает – исчезает идентичность. Вопрос: что происходит с сознанием, когда оно перестает быть отличным от другого сознания?»

Томаш долго смотрел на эти строки.

– Она пыталась применить квантовую механику к сознанию, – сказал он наконец. – Это... спорная область. Очень спорная. Пенроуз, Хамерофф – они предполагали, что квантовые эффекты могут играть роль в работе мозга. Но это теория. Не доказано.

– А это? – Майя указала на уравнения.

– Это выглядит как... попытка формализовать. Превратить интуицию в математику. – Он покачал головой. – Если она права – а я не говорю, что она права – это означает, что сознание может существовать в суперпозиции. Что два сознания могут быть... неразличимыми. И тогда они – по определению – одно сознание.

Майя вспомнила записи Ирен и Ирены. Два голоса, два почерка. «Мы» вместо «я».

– Она писала о себе, – сказала Майя тихо. – Она описывала своё состояние.

Томаш посмотрел на неё.

– Что вы имеете в виду?

И Майя рассказала. О двух почерках. О двух подписях – Ирен и Ирена. О «мы», которое звучало во всех записях. О том, как её прабабка семьдесят три года жила с голосом в голове – или с *голосами* – и пыталась это понять.

Когда она закончила, Томаш долго молчал.

– Это... – начал он и замолчал. Попробовал снова: – Если всё, что вы говорите, правда...

– Я не лгу.

– Я не говорю, что лжёте. Я говорю – *если это правда* – то мы имеем дело с чем-то... беспрецедентным. Человеческое сознание, существующее в квантовой суперпозиции. Сохра-

няющее когерентность семьдесят три года. Это... – Он рассмеялся – коротко, нервно. – Это переворачивает всё, что мы знаем о физике. О биологии. О природе реальности.

– Я знаю.

– И вы просто... пришли ко мне с этим? Вот так?

Майя посмотрела ему в глаза.

– Вы сами сказали, год назад. Что физики много думают о границах. Что если захочу поговорить – могу позвонить.

Он кивнул. Медленно.

– Да. Сказал. – Пауза. – Просто не ожидал, что разговор будет *таким*.

Они проговорили до вечера.

Томаш оказался именно тем собеседником, который был нужен Майе, – достаточно скептическим, чтобы задавать трудные вопросы, и достаточно открытым, чтобы не отвергать ответы. Он требовал доказательств, но принимал их, когда получал. Он не верил на слово, но не отказывался *смотреть*.

К шести часам вечера они составили план.

– Нужно больше измерений, – сказал Томаш, записывая в блокнот. – Масса – это начало, но недостаточно. Рентгеновская дифракция – чтобы увидеть структуру на молекулярном уровне. Спектроскопия – чтобы проверить электронные состояния. Может быть, магнитный резонанс, если сможем договориться об оборудовании.

– Сколько времени это займёт?

– Дни. Может, недели. Зависит от того, что найдём. – Он посмотрел на неё. – Вы готовы к этому?

Майя подумала о своей работе, о статье, которую нужно было закончить, о Якубе и его химерных клетках. О нормальной жизни, которая ждала её за пределами этого кабинета.

– Да, – сказала она.

Томаш кивнул.

– Тогда начнём завтра. Принесите дневник в девять утра. И... – Он замялся.

– Что?

– Будьте осторожны. Если этот объект действительно обладает какими-то... нестандартными свойствами... мы не знаем, как они могут повлиять на вас. На ваше здоровье. На ваше... – Он не договорил.

– На моё сознание?

– Да.

Майя посмотрела на дневник, лежащий на столе между ними. Зелёная обложка. Жёлтые страницы. Семьдесят три года записей.

– Думаю, – сказала она медленно, – это влияние уже началось.

По дороге домой она читала в такси.

Не весь дневник – только отдельные страницы, те, что находила наугад. Записи шестидесятых годов, когда Ирен была молодой женщиной, а Ирена – голосом в её голове, который требовал понимания.

Одна запись остановила её.

Дата: тысяча девятьсот шестьдесят седьмой год. Почерк Ирены:

«Мы проверили, передаётся ли это. Результат неоднозначен. М. провёл три месяца рядом с нами. Близкий контакт. Интенсивный. Достаточный, чтобы волновая функция могла... распространиться? Передаться? Я не знаю правильного термина. После того как он

уехал, мы спросили – чувствует ли он что-то? Слышит ли? Он сказал: да. Иногда. На границе сна. Присутствие, которое не может объяснить. Но он не слышит слов. Не чувствует мыслей. Только... тень. Эхо. Возможно, передача требует более сильной связи. Генетической связи. Или того, что мы не понимаем. Нужно наблюдать. Ждать. Изучать. М. согласился сообщать, если что-то изменится. Пока – ничего».

Майя перечитала запись. «М.» – тот же человек, что написал письмо в коробке? «Три месяца рядом с нами» – что это значило? Отношения? Эксперимент?

И главное – «передается ли это»?

Что «это»? Голос в голове? Способность слышать другое сознание? Квантовая когерентность, о которой говорил Томаш?

Она вспомнила слова матери: «Она была странной. Разговаривала сама с собой».

И свои собственные ощущения: покалывание в левой руке. Гиперчувствительность. Слова, проступающие на странице.

«Если следующее поколение будет как Анна – линия прервётся сама. Если нет – нам придётся вмешаться».

Анна – её мать. Которая «не проснулась», по словам прабабки.

А она, Майя? Проснулась ли она?

Квартира встретила её темнотой и тишиной. Майя включила свет, поставила чайник, села за стол.

Дневник лежал перед ней. Она не помнила, как достала его из сумки. Просто – он был там, на столе, будто всегда там был.

Она открыла на случайной странице. Почерк Ирен, дата – тысяча девятьсот пятьдесят пятый год:

«Сегодня она сказала, что мы – одно. Что разделение – иллюзия, которую я создаю, потому что боюсь. Что если я перестану бояться – границы исчезнут. Я не знаю, хочу ли я, чтобы границы исчезли. Границы – это то, что делает меня мной. Без них – кто я? Часть чего-то большего? Или – никто? Она говорит, что это ложная дилемма. Что быть частью не означает переставать быть собой. Что капля в океане – всё ещё капля. Я не уверена. Я никогда не была уверена».

Майя закрыла дневник.

За окном темнело. Краков зажигал огни – жёлтые, оранжевые, белые. Нормальный мир делал нормальные вещи.

А она сидела в своей квартире и думала о границах. О том, где кончается один человек и начинается другой. О мере различимости, которая определяет идентичность.

Её левая рука лежала на столе – неподвижная, спокойная. Никакого покалывания, никакого жжения. Просто рука.

Но Майя знала, что это не просто рука. Что внутри – тридцать четыре процента клеток, которые не были её собственными. Что граница между ней и кем-то другим проходила прямо здесь, под кожей, невидимая, но реальная.

Прабабка всю жизнь пыталась понять эту границу. Измерить её. Математизировать.

Теперь – очередь Майи.

Перед сном она сделала ещё одну вещь.

Открыла дневник на той странице, где проступили слова. «Знаю». «Ты слышишь».

Взяла ручку. Свою ручку, современную, с синими чернилами.

И написала ниже:

«Да. Слышу. Кто ты?»

Потом закрыла дневник и легла спать.

Левая рука под одеялом была чуть теплее, чем обычно.

Или ей показалось.



Глава 4: Температура прикосновения

Краков, сентябрь 2024

Утром дневник был холодным.

Майя заметила это, когда потянулась к нему правой рукой – привычным жестом, не думая. Обложка под пальцами была прохладной, почти ледяной, как будто книга пролежала всю ночь в холодильнике. Она отдёрнула руку, посмотрела на свои пальцы. Ничего особенного. Обычная кожа, обычная температура.

Она снова коснулась дневника. Правой рукой.

Холод.

Потом – левой.

Тепло.

Не просто тепло – *жар*. Обложка под левой ладонью была горячей, как чашка свежесваренного чая. Майя ощутила, как тепло поднимается по пальцам, по запястью, к локтю. Знакомое ощущение – она чувствовала его раньше, в первую ночь с дневником. Но тогда оно было слабее. Теперь – интенсивнее. *Направленнее.*

Она убрала левую руку. Положила правую.

Холод.

Левую.

Тепло.

Правую.

Холод.

Десять раз она повторила эксперимент. Результат не менялся. Дневник *реагировал* на то, какая рука его касалась. Левая – тепло, почти вибрация, пульсация под кожей обложки. Правая – ничего. Пустота. Как будто книга была мертва.

Как будто она была *жива* – но только для левой руки.

Майя села за стол, не выпуская дневник из левой руки. Тепло продолжало течь – ровное, устойчивое, почти приятное. Она закрыла глаза и попыталась сосредоточиться на ощущении.

Это было похоже на... что? На прикосновение к живому телу. На рукопожатие с кем-то, чья температура чуть выше нормы. На контакт, который что-то *значил*.

Она открыла глаза и посмотрела на свою левую руку. Пальцы, обхватившие дневник, выглядели обычно. Кожа – чуть бледнее, чем на правой, как всегда. Вены – синеватые линии под поверхностью.

Вены.

Майя нахмурилась. Поднесла руку к глазам, вглядываясь в рисунок сосудов.

Что-то было не так.

Она помнила – или думала, что помнила – как выглядели вены на её левой руке. Главная линия шла от запястья к указательному пальцу, разветвляясь у основания большого пальца. Так было всегда. Так было вчера.

Сейчас – ветвление было другим. Ближе к запястью. И появилась новая линия – тонкая, едва заметная – идущая к мизинцу.

Майя отложила дневник. Встала. Прошла в ванную.

Свет в ванной был резким, белым – галогеновые лампы, которые она выбрала именно за это, за клиническую точность. Она подняла левую руку к зеркалу, развернула ладонью к себе.

Вены были там, где она их видела минуту назад. Главная линия, ветвление, новая тонкая нитка к мизинцу. Она не ошиблась.

Майя достала телефон. Открыла галерею. Нашла фотографию трёхдневной давности – ту, которую делала для сравнения после первых странностей. Увеличила.

На фотографии новой линии не было.

Она сделала новый снимок. Сравнила.

Линия появилась. За три дня. Новая вена, которой раньше не существовало.

Майя была нейробиологом, не сосудистым хирургом. Но она знала достаточно анатомии, чтобы понимать: вены не появляются за три дня. Сосудистая система формируется в эмбриональном периоде и остаётся практически неизменной на протяжении жизни. Могут расширяться существующие сосуды – при физической нагрузке, при беременности, при некоторых заболеваниях. Но новые не образуются. Не так. Не за такой срок.

Она села на край ванны, всё ещё держа телефон с двумя фотографиями. Левая рука лежала на колене, ладонью вверх. Новая вена пульсировала – едва заметно, в такт сердцебиению.

Что со мной происходит?

Мысль была холодной, отстранённой. Профессиональной. Она задавала этот вопрос так, как задавала бы его о пациенте, о подопытном, о ком угодно, кроме себя.

Потому что если задать его о себе – придётся признать, что ответа нет.

Она вернулась к дневнику через час, после душа и завтрака. Попыталась есть, но еда казалась безвкусной, и она бросила после нескольких глотков кофе. Левая рука продолжала ощущаться *иначе* – острее, чувствительнее, будто нервные окончания вышли на поверхность.

Дневник лежал на столе, там, где она его оставила. Зелёная обложка в утреннем свете казалась спокойной, почти дружелюбной.

Майя села. Потянулась к дневнику правой рукой.

Холод.

Левой.

Тепло.

Она задержала левую руку на обложке. Тепло пульсировало – ровно, ритмично. Как сердцебиение. Или как... ответ?

Она вспомнила, что написала вчера ночью. «Да. Слышу. Кто ты?»

Открыла дневник на той странице.

Её вопрос был там – синими чернилами, её собственным почерком. Под ним – ничего. Никаких новых слов, никаких проступающих букв. Просто пустое пространство.

Может быть, ещё рано. Может быть, нужно подождать.

Или – может быть – она задала неправильный вопрос.

Майя листала дневник, ища что-то, сама не зная что. Записи мелькали перед глазами – два почерка, два голоса, семьдесят три года жизни. Она остановилась на странице, которую раньше пропускала – слишком ранней, слишком далёкой от того, что её интересовало.

Дата: двенадцатое августа тысяча девятьсот пятьдесят первого года. Почерк Ирен – молодой, уверенный, без дрожи, которая появится в поздних записях:

«Сегодня она написала. Не я – она. Я сидела за столом, держала ручку, думала о чём-то своём. И вдруг моя рука начала двигаться. Сама. Я не контролировала её. Я смотрела, как

пальцы выводят буквы, и не понимала, что происходит. Она написала: "Наконец-то". Одно слово. Одно слово – и всё изменилось. Я всегда знала, что она там. Чувствовала её – как тень, как эхо. Но она никогда не говорила. Не могла. Или не хотела. Теперь – может. Теперь – хочет. Я не знаю, радоваться мне или бояться».

Майя перечитала запись. «Моя рука начала двигаться. Сама».

Она посмотрела на свою левую руку. На новую вену, пульсирующую под кожей. На пальцы, которые – она только сейчас заметила – слегка подрагивали. Не от холода, не от нервов. Просто – подрагивали. Как будто хотели что-то сделать.

Как будто *кто-то* хотел что-то сделать.

Следующая страница была записана другим почерком – острым, угловатым. Ирена. Первые её слова, если верить датам:

«Двадцать лет. Двадцать лет я была здесь – и не могла сказать. Это трудно объяснить. Представь, что ты заперт в комнате со стеклянными стенами. Ты видишь всё, слышишь всё, понимаешь всё – но не можешь достучаться. Не можешь позвать. Не можешь даже постучать по стеклу. Я пробовала. Много раз. Но тело не слушалось. Оно было её телом – Ирен. Я была... гостем? Пленником? Тенью? Я не знаю, что изменилось. Может быть, я стала сильнее. Может быть, она – слабее. Может быть, граница между нами истончилась настолько, что я смогла просочиться. Важно другое. Теперь я могу говорить. Теперь – нас двое. По-настоящему».

Майя закрыла дневник. Её руки – обе – дрожали.

«Тело не слушалось. Оно было её телом».

Она снова посмотрела на свою левую руку. Тридцать четыре процента клеток с чужим генотипом. Y-хромосомы в женском теле. Брат, который никогда не родился.

Или – родился. Частично. В ней.

И теперь – просыпался?

К десяти утра Майя была в институте.

Она не планировала приходить – день был выходным, лаборатория пустовала. Но она не могла оставаться в квартире, наедине с дневником и своими мыслями. Ей нужно было *делать* что-то. Исследовать. Анализировать. Контролировать.

Лаборатория встретила её знакомым гулом приборов в режиме ожидания. Она включила свет, прошла к своему рабочему месту. Холодильник с образцами, микроскоп, компьютер. Всё на месте. Всё нормально.

Она достала набор для забора биоматериала.

Образец крови она взяла из левой руки – из новой вены, той, что появилась за три дня. Игла вошла легко, кровь потекла в пробирку: тёмная, густая, обычная на вид.

Потом – соскоб эпителия. С тыльной стороны левой ладони, там, где кожа казалась чуть тоньше, чем на правой.

Потом – образец ткани. Маленький, с булавочную головку, из области над большим пальцем. Местная анестезия, скальпель, пинцет. Рутинная процедура, которую она проводила сотни раз – только не на себе.

Левая рука почти не болела. Как будто не чувствовала.

Или – как будто *соглашалась*.

Генетический анализ занял несколько часов.

Майя сидела перед монитором, глядя, как формируются результаты. Она знала, что увидит – знала с того момента, как впервые узнала о своём химеризме. Тридцать четыре процента клеток с мужским генотипом. Стандартный показатель для случаев межблизнецового микрохимеризма.

Но цифры на экране показывали другое.

Тридцать восемь процентов.

Она перепроверила. Запустила анализ снова. Подождала.

Тридцать восемь процентов.

На четыре процента больше, чем показывали тесты во время её студенчества. На четыре процента больше, чем должно было быть.

Химерные клетки *размножились*.

Это не имело смысла. Химеризм – состояние стабильное. Соотношение клеток разных генотипов устанавливается в раннем детстве и остаётся практически неизменным на протяжении жизни. Могут быть небольшие колебания – в пределах процента, максимум двух – из-за локальных различий в разных тканях. Но не четыре процента. Не за несколько лет.

Не за несколько *дней*.

Майя встала, прошла по лаборатории. Её мысли металась, не находя точки опоры. Химерные клетки размножаются. Вены меняют рисунок. Дневник реагирует на левую руку, но не на правую.

Что происходит?

Она вернулась к компьютеру. Открыла базу данных научных статей. Набрала в поиске: «chimerism progression», «chimeric cell proliferation», «twin resorption late effects».

Результаты были скудными. Несколько case studies о людях с химеризмом, у которых соотношение клеток менялось со временем – но всегда в сторону *уменьшения* химерной популяции, не увеличения. Иммунная система обычно подавляла «чужие» клетки, постепенно вытесняя их.

У неё – наоборот. «Чужие» клетки *вытесняли* её собственные.

Или – не чужие?

Звонок Томаша застал её за чтением очередной статьи.

– Ковальская, вы где? Мы договаривались на девять, помните?

Майя посмотрела на часы. Полдень. Она совершенно забыла о встрече.

– Простите. Я в институте. Произошло кое-что... – Она замялась. – Можете приехать сюда?

– К вам? В нейробиологию?

– Да. Мне нужно кое-что показать.

Пауза.

– Связанное с дневником?

– Связанное со мной.

Томаш приехал через сорок минут.

Он вошёл в лабораторию с тем же рассеянным видом, что и в своём кабинете, – будто мысли его были где-то далеко, а тело просто следовало за ними. Но когда Майя показала ему результаты анализа, рассеянность исчезла мгновенно.

– Тридцать восемь процентов, – повторил он, глядя на экран. – И вы говорите, раньше было тридцать четыре?

– Да. Последний тест – шесть лет назад.

– Погрешность измерения?

– Я использовала тот же протокол, что и тогда. Те же реагенты, ту же методику. Погрешность – максимум полпроцента.

Томаш снял очки, потёр глаза. Надел снова.

– Это... необычно.

– Я знаю.

– Нет, вы не понимаете. – Он повернулся к ней. – Если химерные клетки действительно размножаются быстрее, чем ваши собственные... это означает, что у них есть какое-то преимущество. Селективное преимущество. Что-то, что делает их более... – Он поискал слово. – Более *жизнеспособными*.

– Что может дать такое преимущество?

– Я не биолог. Но... – Он снова посмотрел на экран. – У вас есть данные по отдельным тканям? Не общий процент, а распределение?

Майя кивнула. Вывела на экран следующую таблицу.

Кровь: 31% химерных клеток. Кожа (правая рука): 12%. Кожа (левая рука): 67%. Мышечная ткань (левая рука): 54%.

Томаш присвистнул.

– Шестидесят семь процентов? Ваша левая рука – на две трети...

– Не моя, – сказала Майя. Голос прозвучал ровно, без эмоций. – На две трети – *его*.

Они сидели в тишине несколько минут. Томаш – перед экраном, переваривая информацию. Майя – у окна, глядя на краковские крыши.

– Вы сказали «его», – произнёс Томаш наконец. – Вы имеете в виду... нерождённого близнеца?

– Да.

– Но это же... он не существует. Как личность. Как сознание. Он – просто клетки.

Майя повернулась к нему.

– Вы вчера говорили о суперпозиции сознания. О том, что прабабка пыталась формализовать.

– Да, но...

– Она тоже была химерой. Её записи... она называла себя «мы». Два голоса, два почерка. Она *слышала* кого-то внутри себя. И этот кто-то *отвечал*.

Томаш молчал.

– А теперь, – продолжала Майя, – дневник реагирует на мою левую руку. Тепло, вибрация. На правую – ничего. Как будто... как будто дневник узнаёт что-то в этой руке. Что-то, чего нет в правой.

– Химерные клетки?

– Или то, что в них содержится.

Томаш встал, подошёл к окну. Встал рядом с ней.

– Вы говорите о сознании. Вы говорите, что в вашей левой руке может быть... другое сознание?

– Я говорю, что не знаю. – Майя посмотрела на свою левую руку. Новая вена пульсировала, едва заметно. – Но что-то там есть. Что-то, что меняется. Растёт. Пробуждается.

– И это связано с дневником?

– Изменения начались после того, как я его открыла.

Томаш долго молчал. Потом:

– Покажите мне.

Они вернулись к столу. Майя достала дневник из сумки, положила между ними.

– Смотрите, – сказала она. Коснулась обложки правой рукой. – Чувствуете?

Томаш положил свою руку рядом с её.

– Прохладная. Нормальная температура.

– Теперь – левой.

Она убрала правую руку, положила левую. И увидела, как Томаш вздрогнул.

– Это... – Он отдернул свою руку. – Что это было?

– Что вы почувствовали?

– Тепло. Сильное. И что-то ещё... – Он нахмурился. – Как будто вибрация. Или гул. На границе слышимости.

Майя убрала руку. Положила снова.

– Это происходит каждый раз. Только с левой.

Томаш смотрел на дневник, как на опасное животное.

– Могу я... – Он протянул руку. – Могу я попробовать?

– Конечно.

Он коснулся обложки. Подождал. Нахмурился.

– Ничего. Прохладная, как раньше.

– Попробуйте левой.

Он поменял руку. Снова подождал.

– То же самое. Ничего.

Майя кивнула. Она ожидала этого.

– Дневник реагирует не на левую руку вообще. Он реагирует на *мою* левую руку. На химерные клетки.

– Но как? – Томаш убрал руку, отступил на шаг. – Как книга может... различать? Это же неживой объект. Бумага, чернила, клей. У него нет сенсоров, нет нервной системы, нет способа...

Он замолчал. Посмотрел на Майю.

– Вчера вы сказали, – проговорила она медленно, – что дневник может находиться в квантовой суперпозиции. Что декогеренция каким-то образом подавлена.

– Да, но это была гипотеза. Безумная гипотеза.

– А если она верна? – Майя коснулась дневника левой рукой. Тепло пришло мгновенно. – Если дневник действительно... квантово связан с чем-то? С кем-то?

– С вашей прабабкой?

– Или с тем, что в ней было. С Иреной. С тем *другим* сознанием.

Томаш молчал. Его лицо было бледным в свете лабораторных ламп.

– И если это сознание, – продолжила Майя, – каким-то образом... передалось? Через поколения? Через химерные клетки?

– Вы говорите о... о чём-то вроде квантовой наследственности?

– Я не знаю, как это назвать. – Она посмотрела на свою левую руку. – Но что-то передалось. Я это чувствую.

Они провели в лаборатории ещё несколько часов.

Томаш предложил ряд экспериментов – простых, неинвазивных. Температурные измерения. Электрическая проводимость. Реакция на разные части тела Майи.

Результаты были... странными.

Дневник оставался холодным при контакте с любой частью тела Майи, кроме левой руки. Правая рука, лицо, плечо, колено – везде одинаковая прохлада. Только левая рука – и только от запястья до кончиков пальцев – вызывала реакцию.

– Это коррелирует с распределением химерных клеток, – сказал Томаш, глядя на данные. – Шестьдесят семь процентов в коже левой руки. Максимальная концентрация.

– Слово дневник... настроен на эти клетки.

– Или на что-то в этих клетках. – Он покачал головой. – Это за пределами моего понимания. Я физик, не биолог. И уж точно не... – Он не договорил.

– Не что?

– Не специалист по невозможным вещам.

Майя невесело усмехнулась.

– Добро пожаловать в мой мир.

К вечеру они разошлись – Томаш в университет, Майя в свою квартиру. Дневник она несла в сумке, прижатой к левому боку. Тепло проникало сквозь ткань, согревая кожу.

Как щенок, – подумала она неожиданно. *Тёплый, живой, требующий внимания.*

Мысль была абсурдной. И пугающей.

Дома она положила дневник на стол, но не открыла. Вместо этого – долго стояла под душем, пытаясь смыть усталость и тревогу. Горячая вода била по плечам, по спине, по рукам.

По левой руке – особенно.

Майя опустила взгляд. Вода стекала по коже, по венам, которые теперь выглядели иначе. Не просто новая линия к мизинцу – весь рисунок изменился. Линии стали отчётливее, ярче, будто кто-то прорисовал их заново.

Она выключила воду. Вышла из душа. Встала перед зеркалом.

Левая рука в отражении выглядела... не её. Той же формы, того же размера – но *другой*. Более чёткой. Более определённой. Как будто раньше она была наброском, а теперь кто-то обвёл контуры.

Майя подняла руку к зеркалу. Отражение повторило движение. Но ей показалось – на долю секунды – что рука в зеркале двинулась *раньше*. На мгновение раньше, чем она отдала команду.

Она моргнула. Опустила руку. Отражение послушно повторило.

Показалось, – сказала она себе. *Просто показалось*.

Но она не была уверена.

Ночью Майя лежала без сна, глядя в потолок.

Левая рука покоилась поверх одеяла. Она не убирала её специально – просто так получилось. Рука была тёплой – теплее правой, теплее, чем обычно. И она *пульсировала* – едва заметно, в ритме, который не совпадал с сердцебиением.

Майя считала удары. Её сердце – семьдесят два в минуту. Пульсация в руке – шестьдесят восемь.

Разный ритм. Разное сердце?

Абсурд. У неё одно сердце. Одно тело. Одно...

Рука дёрнулась.

Майя замерла. Она не двигала рукой. Не собиралась двигать. Но рука – левая рука – дёрнулась сама. Конвульсивно. Резко. Будто кто-то дёрнул за невидимую нитку.

Она села в кровати. Посмотрела на руку.

Рука лежала неподвижно. Обычная рука. Её рука.

Показалось, – повторила она. *Просто нервы*.

Она легла обратно. Закрыла глаза.

Рука дёрнулась снова.

На этот раз Майя не стала убеждать себя, что показалось. Она села, включила ночник, уставилась на свою левую руку.

Рука лежала на одеяле. Неподвижная. Мирная.

Минута прошла. Две. Три.

Рука оставалась неподвижной.

Майя начала думать, что всё-таки показалось – нервы, усталость, стресс. Она протянула правую руку, чтобы коснуться левой...

И левая рука *отодвинулась*.

Не дёрнулась – *отодвинулась*. Плавно, целенаправленно, на несколько сантиметров в сторону. Как будто уклонялась от прикосновения.

Майя застыла. Её правая рука висела в воздухе, пальцы – в сантиметре от левой ладони.

А левая рука – *её* левая рука – лежала чуть дальше, чем мгновение назад.

– Что... – Голос сел, слова не шли. Она прокашлялась. – Что происходит?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.